ИСТОРИИ, ВОСХИТИВШИЕ МИР

Татьяна Алексеева

АХМАТОВА И ГУМИЛЕВ

С любимыми не расставайтесь...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анна Ахматова и Николай Гумилев. Любили они друг друга или только мучили, не в силах вырваться из сладкого плена муз, в котором каждый из них пребывал едва ли не с самого рождения? Они познакомились, когда ей было всего четырнадцать, а ему семнадцать. Для нее это была только случайная встреча, для него же – любовь с первого взгляда и до последнего вздоха, любовь изломанная, очень недолго взаимная и всегда – трагическая. Получив известие о страшной гибели Гумилева, Ахматова вдруг поняла, что любила его всю жизнь, но сказать об этом Николаю было уже поздно. Два неординарных человека, наделенные Богом удивительным поэтическим даром, две удивительных судьбы так и не смогли соединиться при жизни…

- Татьяна Алексеева
- Глава I Россия, Усадьба Поповка, 1892 г.
- Глава II Россия, Царское Село, 1901 г.
-
- Глава III Россия, Царское Село, 1903 г.
- Глава IV Россия, Царское Село, 1905 г.
- Глава V Франция, Париж, 1907 г.
-
- Глава VI Россия, Евпатория – Царское Село, 1907 г.
- Глава VII Египет, Порт-Саид, 1907 г.
-
- Глава VIII Франция, Турвилль, 1907 г.
- Глава IX Россия, Санкт-Петербург, 1909 г.
-
- Глава X Россия, Санкт-Петербург, 1909 г.
- Глава XI Россия, Киев, 1909 г.
-
- Глава XII Египет, пустыня Сахара, 1909 г.
- Глава XIII Украина, Киев, 1910 г.
- Глава XIV Франция, Париж, 1910 г.
- Глава XV Россия, Слепнево, 1911 г.
-
- Глава XVI Россия, Санкт-Петербург, 1911 г.
- Глава XVII Россия, Санкт-Петербург – Абиссиния, Харрар, 1913 г.
- Глава XVIII Россия, Петроград, 1917 г.
- Глава XIX Россия, Петроград, 1918 г.

- Глава XX Россия, Петроград, 1918 г.
- Глава XXI Россия, Петроград, 1919 г.
- Глава XXII Россия, Слепнево, 1919 г.
- Глава XXIII Россия, Петроград, 1921 г.
- Глава XXIV Россия, Петроград, 1921 г.
- Глава XXV Россия, Петроград, 1922 г.
- Эпилог СССР, Ленинград, 1938 г.

Татьяна Алексеева
Ахматова и Гумилев. С любимыми не расставайтесь…

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

Родилась в Санкт-Петербурге, в семье певца-барда Сергея Алексеева.

Окончила факультет журналистики СПбГУ. Работала корреспондентом в периодических изданиях, занималась журналистскими расследованиями, переводами, преподавала, а заодно много путешествовала.

Свой первый рассказ сочинила в 15 лет. Позже начала выкладывать свои произведения в Интернете и постепенно обрела широкий круг поклонников своего таланта. Участвовала и выходила в финал в многочисленных литературных конкурсах, публиковалась в различных литературных журналах и сборниках.
В настоящее время руководит собственным литературным салоном «Страница».

Глава I Россия, Усадьба Поповка, 1892 г.

С любимыми не расставайтесь…

Я ребенком любил большие,
Медом пахнущие луга,
Перелески, травы сухие
И меж трав бычачьи рога.

Н. Гумилев

Перед шестилетним Колей стояла невероятно сложная задача. Поначалу она даже казалась ему непосильной, и он едва не отказался от своего дерзкого замысла. Но потом ему стало стыдно. Ведь он уже совсем большой, он столько всего умеет, и, главное, он теперь умеет писать! Значит, он просто обязан сделать то, что задумал. Отступать нельзя!

Окончательно решившись действовать, мальчик залпом допил поданное ему на завтрак топленое молоко и сполз с высокого стула.

– Спасибо, нянюшка! – сказал он сидевшей напротив Мавре Ивановне.

– Наелся, маленький? Может быть, ты еще чего-нибудь хочешь? – расплылась в улыбке пожилая женщина.

Ее добрые и очень ясные, несмотря на старость, глаза смотрели на любимого воспитанника с огромной любовью и сочувствием. Бедный ребенок, ему опять придется провести весь день в четырех стенах, потому что на улице слишком холодно и сыро, а он такой болезненный! И при этом так любит гулять в саду, такими горящими глазами смотрит на каждое старое дерево, на каждую птицу! Словно это не обычные дубы с березами, а какие-то неведомые, сказочные растения, не обычные воробьи, а яркие говорящие попугаи… Но, к огромному сожалению няни и взрослой сводной сестры Коли, отправившейся гулять с его старшим братом Митей, в этот день выходить на улицу ему было нельзя. Малыш и сам понимал это – еще накануне, когда погода была солнечной и ничто не мешало его прогулке, он с серьезным видом объявил, что на следующий день станет холодно. И хотя на первый взгляд никаких перемен погоды не ожидалось, Мавра Ивановна сразу поверила ребенку. Он уже не раз умудрялся каким-то непостижимым образом

почувствовать, что на следующий день будет дождь или сильный ветер.

Этим утром няня и родители Коли в очередной раз убедились, что мальчик не ошибся. Погода была пасмурной, ветер усиливался с каждой минутой, птицы летали низко над землей с тревожными криками – было ясно, что в любую минуту может пойти дождь и что о солнце на сегодня можно забыть. Супруги Гумилевы подумали даже о том, чтобы вообще не ходить гулять, однако дождь все не начинался, и в конце концов они пришли к выводу, что Мите будет полезнее немного подышать свежим воздухом, чем сидеть дома. Поэтому решено было чуть-чуть пройтись по саду со старшим сыном, оставив болезненного младшего на попечение няни. Родители очень удивились, что маленький Коля не стал из-за этого расстраиваться и проситься на прогулку, а вместо этого с понимающим видом кивнул головой. На самом же деле все было очень просто. Колю ждало другое, гораздо более важное дело, сделать которое в отсутствие брата и мамы с папой намного проще.

– Ну так как, будешь еще кушать? – повторила свой вопрос няня. Но Коле было уже не до еды. Какое там «кушать», когда у него настолько важное мероприятие?!

– Нет, спасибо, – ответил он вежливо, как учили его родители и сестра Александра. – Я сытый. Можно мне теперь взять чернила и писать буквы?

– Ну конечно же, пойдем, сейчас я тебе все дам! – умилилась няня и тут же поднялась со стула.

Коля радостно хлопнул в ладоши и первым выбежал из столовой. Он был страшно рад, что так здорово все придумал. Все взрослые – родители, няня, Саша – постоянно уговаривали его писать и бывали очень довольны, когда он добровольно соглашался учить буквы. И теперь Мавра Ивановна, как он и ожидал, тоже обрадовалась высказанному им желанию и, усадив его за стол в детской, вручила заляпанную кляксами тетрадь.

Однако маленький Коля оказался в затруднении. Дав ему перо и поставив рядом с тетрадью чернильницу, няня уселась рядом, собираясь следить, чтобы ребенок не разлил чернила и не начал озорничать, вместо того чтобы заниматься делом. А Коле непременно нужно было остаться одному наедине с тетрадью и чернилами – хотя бы на несколько минут. Вот только как это сделать, мальчик еще не придумал.

Чтобы не вызвать никаких подозрений няни, он открыл тетрадь на еще не исписанной его нетвердой рукой странице, обмакнул кончик пера в чернила и, прищурившись, чтобы появляющиеся на бумаге линии не двоились, медленно вывел

большую букву «аз». Мавра Ивановна с улыбкой наблюдала за ним, готовая в любой момент подсказать, как писать следующую букву. Коля старательно вывел рядом с заглавной первой буквой алфавита строчную и снова потянулся пером к чернильнице, специально делая все как можно медленнее. Вдруг няне надоест и она отойдет по каким-нибудь своим делам? Она же видит, что он делает все аккуратно, не шалит и его можно оставить одного!

Однако няня продолжала сидеть за столом и смотреть то на своего воспитанника, то на зажатое в его крошечной худенькой ручке перо с медленно растущей каплей чернил на кончике.

– Ну, что ты, не помнишь, как пишется «буки»? – спросила она, протягивая свою морщинистую руку к перу, чтобы помочь ребенку. Коля решительно прижал кончик пера к бумаге.

– Помню! Вот… – и начал торопливо выводить следующую букву. От волнения «буки» получилась у него кривой и гораздо менее красивой, чем «аз», но Мавра Ивановна все равно удовлетворенно улыбнулась. Мальчик вздохнул и принялся писать дальше, предчувствуя, что ему все-таки придется отказаться от своей затеи. Няня явно не обиралась никуда уходить, и, похоже, у нее не было в этот день никаких срочных дел по дому – надежда на то, что она оставит его без присмотра, таяла с каждой минутой. Коля написал уже целых две строчки и посадил на листе бумаги внушительных размеров кляксу, прежде чем ему наконец пришла в голову новая идея о том, как удалить Мавру Ивановну из комнаты.

– Нянечка, можно мне попить водички? – попросил он, откладывая перо на промокашку.

– Конечно, сейчас я тебе принесу! Сиди тут и не балуйся! – кивнула няня, поднялась со стула и, громко шаркая ногами, вышла из детской.

Коля едва дождался того мгновения, когда за ней закроется дверь, и сразу же после этого снова обмакнул перо в чернильницу. Затем открыл тетрадь на последней странице и начал корявым от спешки почерком выписывать на ней буквы – одну за другой, пока они не сложились в слова. Те самые слова, которые он придумал еще вчера, во время прогулки по саду, и которые боялся забыть. Ему так хотелось побыстрее записать:

Живала Ниагара
Близ озера Дели

Писать слова было сложнее, чем отдельные буквы, кроме того, Коля торопился закончить до того, как вернется няня, и забывал прищуривать глаза, поэтому две первые строчки получились у него совсем кривыми, а в конце слова «Дели» он

опять посадил кляксу. Но бросать начатое дело уже поздно, нужно довести его до конца. Оглянувшись на дверь и убедившись, что нянюшка Мавра все еще в столовой, мальчик снова обмакнул перо в чернила и продолжил:

Любовью к Ниагаре
Вожди все летели

Он еще не знал, где находится Ниагара и где – озеро по имени Дели, но уже любил эти места за их странные, таинственные названия. Когда взрослые прочитают его стихи, они сразу поймут, как ему хочется туда, к сказочному водопаду, к Ниагаре… Вот только писать оказалось слишком сложно и тяжело, гораздо тяжелее, чем просто выводить буквы и простые слова вроде «мама» и «папа»! Буквы получались неровные и грязные, перо скрипело и царапало бумагу, но он все-таки дописал первую фразу до конца и поставил аккуратную точку.

Продолжить стихотворение мальчику не удалось. За дверью послышались шаркающие шаги, и в комнату вернулась няня. Коля торопливо закрыл тетрадь, пряча от нее заветные строчки, потом открыл ее на той странице, где писал буквы, и тут же, спохватившись, что не промокнул свою последнюю запись и теперь она должна смазаться, снова открыл тетрадку на последней странице… Больше он ничего сделать не успел, потому что Мавра Ивановна подошла к столу, поставила рядом с ним полную воды чашку и заглянула в тетрадь.

– Что это ты тут написал? – с интересом спросила она, рассматривая четыре загибающиеся вверх расплывшиеся строчки. – Дай-ка посмотреть!..

Коля покорно придвинул ей тетрадь. Что-то няня скажет теперь? Будет ворчать, что ему еще рано писать такие сложные слова, сначала он должен освоить буквы?

Мавра Ивановна наклонилась над исписанной страницей. Всматриваясь в неровные детские каракули, она прищурила свои близорукие глаза, и на ее старом лице появилось еще больше морщинок. Читала она медленно, и ей не сразу удавалось понять, что за слово написал ее юный воспитанник. Коля, напряженно следивший за ее лицом, увидел, как няня постепенно расплывается в улыбке. Она прочитала про Ниагару, и ей это понравилось.

– Ты сам придумал? – спросила она мальчика.

– Сам… – сияя глазами, кивнул он.

Лишь теперь Коля окончательно убедился, что не сделал ничего запретного или неправильного. Ему даже стало жаль, что он не сказал няне сразу о своем намерении записать сочиненное

стихотворение. Не пришлось бы столько хитрить, а потом торопиться все написать, боясь, что его застукают! Хотя писать тайком все-таки было очень интересно…

– Молодец, Коленька. – Морщинистая нянина рука погладила ребенка по голове. – Ты очень красиво написал. А маме с папой ты эти стихи покажешь?

– Конечно, покажу! – радостно закивал Коля. Теперь, когда его первые в жизни стихи похвалили, он готов был показать их всем, и родителям, и старшим брату с сестрой, и вообще всему миру. Чтобы услышать еще раз эти слова: «Молодец, очень красиво».

– Тогда мы им дадим сегодня это прочитать? – уточнила няня.

– Дадим! Только… я еще не все написал, – отозвался мальчик.

– Ты еще что-то сочинил? – удивилась Мавра Ивановна. – Давай я помогу тебе тогда и это записать! Подскажу, как правильно.

– Помоги! – еще больше обрадовался Коля и через секунду, вспомнив, как мать учила его вежливости, добавил: – Пожалуйста!

Он снова сунул перо в чернильницу, аккуратно провел им по ее краю, снимая повисшую на кончике каплю, и принялся писать следующую строчку. Он писал о джунглях и саваннах, о диких зверях и странных туземцах, а няня следила за скрипящим в его руке пером и иногда тихо подсказывала, как надо писать то или иное слово. А Коля все писал, путался в буквах, ставил на бумаге кляксы и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете.

В детскую заглянула его старшая сестра Александра, вернувшаяся с прогулки раньше остальных и собиравшаяся что-то спросить у няни, но та приложила палец к губам и знаком попросила девушку подождать. Александра удивленно вскинула брови при виде старательно пишущего Коли и, осторожно приблизившись к столу, заглянула в его тетрадь. Мавра Ивановна продолжала делать ей знаки, призывающие не отвлекать мальчика, и девушка, согласно кивнув, отступила на пару шагов. Но Коля даже не посмотрел на нее. Он слышал, что кто-то вошел в комнату, видел, как на тетрадную страницу на мгновение упала и снова исчезла тень, но оторваться от записи своих первых стихов было для него абсолютно непосильным делом. Он должен дописать их до конца, пока не забыл. А потом уже можно будет посмотреть, кто пришел в детскую, и показать написанное всем желающим.

Последнюю точку мальчик поставил неудачно, посадив на

бумагу очередную кляксу. Лишь после этого он поднял голову и, увидев сестру, залился краской от смущения.

– Что там у тебя, Коля? – спросила Александра, снова подходя к столу. – Дашь посмотреть?

Мальчик еще раз молча кивнул и спрятал руки под стол. Девушка взяла тетрадь в руки, внимательно прочитала написанное в ней стихотворение и снова положила ее на стол.

– Это я сам! – сообщил Коля, догадавшись, что сейчас она задаст ему тот же вопрос, что и Мавра Ивановна. Сестра улыбнулась и погладила его по тонким светлым волосам.

– Я так и думала, что ты сам. Умница! – сказала она и, наклонившись к лицу мальчика, вкрадчиво спросила: – А маме с папой дашь эти стихи прочитать?

– Дам! – вновь с готовностью подтвердил Коля. Смущение, которое он испытывал поначалу, собираясь записать стихотворение, прошло окончательно. Теперь он всегда будет делать так: если ему на ум придут сложившиеся в рифму слова – запишет их, а потом покажет взрослым. Они будут этому только рады!

Вскоре домой вернулись родители и Митя. Александра, услышав стук входной двери, выбежала к ним навстречу с загадочным выражением лица.

– А вы знаете, что сделал наш Коля? – спросила она отца с мачехой, лукаво улыбаясь.

Степан и Анна Гумилевы с любопытством переглянулись.

– И что же он натворил? – подхватывая игру старшей дочери, поинтересовался глава семейства.

– Ни за что не догадаетесь! – все тем же интригующим тоном произнесла девушка.

Выглянувший из-за ее спины Коля тоже улыбнулся родителям, и его глаза загорелись таким же хитрым огоньком. Сгорающий от любопытства Митя, глядя на него и на старшую сестру, едва не запрыгал на месте от нетерпения:

– Что он натворил, что?! Шура, скажи, скажи!

– Сейчас узнаете, Коля сам вам все покажет, – ответила Александра. – Проходите сюда! – и она жестом поманила всю семью в детскую.

Митя бросился туда первым, забыв вытереть ноги, супруги Гумилевы поспешили за ним, не сделав сыну замечания, любопытство всех троих было сильнее правил и условностей. Они подошли к столу, и Мавра Ивановна с гордостью продемонстрировала им последнюю страницу Колиной тетрадки. Степан Гумилев взял ее в руки, и они с женой углубились в чтение.

– А мне? Мне покажите! – изнывая от любопытства, подпрыгивал рядом Митя. – Ну, что там?!

– Там стихи, – объяснила ему Анна Гумилева, забирая у мужа тетрадь, и наклонилась к старшему сыну: – Вот, посмотри, только аккуратнее, не запачкайся чернилами! – Она повернулась к сияющему Коле и погладила его по волосам: – Умница! Скажи, а можно я перепишу это стихотворение в другую тетрадку, чтобы оно осталось у меня? Ты ведь не будешь против, если я иногда буду его перечитывать?

– Не буду… – удивленно ответил мальчик. Впервые в жизни мать спрашивала у него разрешения для того, чтобы что-то сделать! Обычно это им с Митей нужно было спрашивать у родителей или еще у кого-нибудь из взрослых, можно ли им пойти гулять в сад или лечь спать чуть позже обычного. Им редко отказывали, но все-таки мальчики должны были заручиться их согласием, прежде чем что-то сделать. А вот наоборот не случалось еще ни разу. Взрослым не нужно было ничье разрешение, тем более от детей, и Коля даже не подозревал, что иногда оно все же может им понадобится!

Но, как выяснилось, некоторые дела мама не могла сделать без его согласия. Она не могла решить сама, можно ли ей переписать его стихи в свою тетрадь и можно ли давать их читать другим людям. И хотя Коля, конечно же, никогда не стал бы возражать матери, он чувствовал, что в этом она тоже права. Как бывала права и раньше, во всех других вещах.

Анна Ивановна спрашивала у Коли разрешение и после этого, каждый следующий раз, когда он показывал ей свои новые стихи. И лишь после того, как мальчик отвечал, что ей можно делать с ними все, что угодно, аккуратно переписывала их в специально отведенную для этого тетрадку своим мелким красивым почерком.

Глава II Россия, Царское Село, 1901 г.

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

А. Ахматова

Аню опять разбудил шум на улице. Было не так уж и рано, но в ее комнате стоял густой полумрак – утренний свет с трудом пробивался через заслонявшие окно плотные кусты. Но девочке и не нужно было ничего видеть, чтобы понять: мимо их дома снова шла похоронная процессия. Она слышала, как медленно и степенно процокали по мостовой копыта лошадей – в любом другом случае кони проехали бы быстрее, даже если бы кучер заставлял их идти шагом.

Девочка вскочила с кровати, мгновенно стряхнув в себя остатки сна. В комнате было сыро и промозгло, и она схватила одеяло, чтобы накинуть его себе на плечи. Завернувшись в него, как в плащ, Аня подошла к окну, проворно протерла холодное запотевшее стекло и принялась всматриваться в редкие просветы между ветками. Да, она не ошиблась! За кустами по проходившей возле их дома дороге медленно двигались одетые в черное фигуры. Цоканье копыт было уже едва слышно, повозка с гробом уехала далеко вперед, но идущих следом за ней людей было очень много. Они все шли и шли неторопливой торжественной походкой, и хотя Аня не видела их лиц, она опять с легкостью догадалась, что большинство из провожающих умершего в последний путь горожан были уже совсем старыми и каждый шаг давался им с огромным трудом.

Бросив на траурную процессию еще один быстрый взгляд, девочка метнулась к двери и выглянула в коридор. Дома было тихо, родители и братья с сестрами, по всей видимости, еще спали, и Аня торопливо прокралась на цыпочках мимо их комнат к входной двери. Стараясь не шуметь, она взяла висевшее на стене пальто, мысленно порадовавшись, что его до сих пор не убрали на лето в сундук, набросила его поверх ночной сорочки и, на ходу застегивая пуговицы, выскользнула из дома.

На улице было по-утреннему прохладно и зябко. Девочка

снова поежилась, но возвращаться домой и не собиралась. Подняв повыше воротник пальто, она протиснулась сквозь окружающие ее дом кусты и осторожно выглянула на дорогу. Она успела вовремя! Мимо нее как раз проходили последние приглашенные на похороны люди. Прямые как палки седые мужчины в безупречных костюмах и сгорбленные женщины с лицами, скрытыми густыми вуалями, в старомодных черных платьях, пугающие своим мрачным, трагическим видом и в то же время невероятно притягательные…

Аня высунулась из кустов еще сильнее и замерла, глядя вслед удаляющейся процессии. Это зрелище было одним из ее самых любимых. Лошади, покрытые черными попонами, катафалк, выкрашенный черной краской, люди в черной одежде – все это завораживало девочку, но при этом не пугало, как других людей, и даже не портило ей настроение. Наоборот, наблюдая за похоронами, Аня чувствовала сумасшедший душевный подъем, который едва ли смогла бы объяснить. Да и не стала бы она ничего объяснять, даже если бы ее начали расспрашивать, зачем она смотрит на катафалки и что при этом ощущает. Ей просто нравилось это делать – провожать взглядом черные фигуры и чувствовать себя причастной к чему-то важному, чуть ли не самому главному в жизни.

Процессия тем временем уходила все дальше от дома Ани, и она, забыв обо всем на свете, сделала несколько шагов к дороге, чтобы подольше не терять катафалк и сопровождающих его стариков из виду. По улице шли другие прохожие, торопившиеся по каким-то своим делам. Некоторые из них с недоумением посматривали на одетую в пальто и домашнюю обувь девочку, но Аня не обращала на них внимания. Пусть смотрят, пусть удивляются и неодобрительно качают головами! Когда она была помладше, здешние жители видели ее еще в более странном наряде, бегающей по улицам босиком и в измятом платье, тоже таращились на нее во все глаза и даже показывали на нее пальцем, называя «дикой девчонкой». По сравнению с тем, как она выглядела тогда, сейчас Аня была одета почти прилично! И если люди снова будут думать о ней как о дикой, странной или вовсе умалишенной, Ане это совершенно все равно, несмотря на то что ей уже одиннадцать лет и она совсем взрослая девочка! Не до них сейчас, надо досмотреть, как похоронная процессия исчезает за поворотом.

И она смотрела. Смотрела на все более нечеткие, уменьшающиеся черные силуэты и не видела ни других прохожих, ни зеленеющих по обеим сторонам улицы кустов и деревьев, ни бегущих по бледно-голубому небу пышных облаков. Все это было

слишком обычным по сравнению с катафалком и идущими за ним скорбными фигурами, по сравнению со смертью. Ане порой казалось, что все остальное вообще не имеет никакого значения…

Она продолжала некоторое время стоять у дороги, глядя вдаль, даже после того, как последний из провожавших гроб прохожих завернул за угол и пропал из виду. Но внезапно подул сильный ветер, и девочка почувствовала, что совсем озябла. Надо было возвращаться домой, пока она не замерзла окончательно и не начала опять кашлять и пока дома не обнаружили ее отсутствия. Аня отступила обратно в кусты и, заслоняя ладонью глаза, чтобы их не задели раздвигаемые ею ветки, стала пробираться обратно к дверям своего дома.

Перед глазами у нее по-прежнему стояла медленно движущаяся по улице вереница стариков в черном. Всем им было уже очень много лет, за семьдесят или за восемьдесят, а тому, кого они хоронили, наверное, еще больше. Эти люди жили в закончившемся всего полгода назад девятнадцатом веке и собственными глазами видели события той эпохи. Видели, как приезжали в Царское Село Александр III, Александр II, Николай I… Как прибыли в только что открывшийся лицей первые ученики – Пушкин и Кюхельбекер, Пущин и Дельвиг… Как приехал туда Державин, чтобы впервые услышать стихи смуглого и кудрявого лицеиста по кличке Обезьяна… Все эти люди, правители, о которых Ане рассказывали на уроках в гимназии, и поэты, которых она читала и перечитывала с тех пор, как ее научили азбуке, были для тех стариков живыми современниками. Может быть, они встречали их на улице, а может быть, даже были с ними знакомы – эта мысль не давала Ане покоя с самого раннего детства, с того дня, как она впервые увидела в окно ковыляющую мимо их дома старушку с клюкой. Это было зимой, кусты, заслоняющие окна их дома, стояли совсем голые, а снега к тому времени намело еще не слишком много – тот редкий случай, когда из окон хорошо видна и улица, и дома напротив, и прохожие. Пользуясь такой редкой возможностью поглазеть в окно, Аня сидела на подоконнике и вдруг увидела старушку – сгорбленную, прихрамывающую, каждый шаг требовал от нее огромных усилий, и двигалась она очень медленно. Девочка смотрела на нее во все глаза и не могла оторваться. Хотя уже много раз видела стариков, никогда раньше они не вызывали у нее такой смеси любопытства, почтения и некоторого страха…

«Эта бабушка видела Пушкина!» – неожиданно пришло Ане в голову. Она не знала, кто эта старушка и сколько ей лет, но почему-то вдруг почувствовала уверенность в том, что когда-то давно, в детстве или юности, старая женщина была знакома с

лицеистом по имени Александр Пушкин, который еще только должен был стать великим поэтом. Она просто знала, что все было именно так, и если бы кто-нибудь попытался ее в этом разубедить, девочка не стала бы его слушать. Впрочем, переубеждать Аню и объяснять ей, что далеко не каждый старый житель Царского Села мог быть знаком с учившимся в нем великим поэтом, было некому. Она никогда ни с кем не стала бы говорить о своих догадках. Зато с тех пор всегда думала подобным образом обо всех встреченных ею пожилых людях. Особенно если попавшиеся ей на глаза старики и старухи были одеты в черное и шли за гробом своего умершего друга или родственника. Девочка обязательно провожала их глазами и даже после того, как похоронное шествие скрывалось из виду, долго представляла себе, как они приходят на кладбище и опускают гроб в вырытую могилу. Ей казалось, что вместе с покойником из этого мира уходит девятнадцатый век со всеми своими блистательными великими людьми, уходит навсегда и безвозвратно. При этом грустно от таких мыслей девочке не было. Наоборот, мысль об умирающем столетии привлекала ее своей мрачностью…

Вот и сейчас она увидела, как ушел из мира живых еще один проживший долгую жизнь человек, еще одна частица девятнадцатого века. Аня снова глянула в конец улицы. Процессия давно уже исчезла из виду, но медленно движущаяся вереница людей в черной одежде по-прежнему стояла у девочки перед глазами, и она знала, что будет видеть их в своем воображении весь день, а возможно, и в течение нескольких последующих дней, а еще по ночам, во сне. Но теперь надо все-таки поторопиться и вернуться домой – ее отсутствие могут заметить в любую минуту.

Перешагивая через огромные пучки лопухов, каждый из которых был размером с детский зонтик, Аня добралась до двери, осторожно приоткрыла ее, протиснулась внутрь и прислушалась. Было так же тихо, как и полчаса назад, когда девочка покидала дом. Никто еще не проснулся, и она смогла незаметно снять пальто, повесить его на место и вернуться в свою комнату.

Там Аня присела на край кровати и задумалась о том, что ей делать дальше. Можно было забраться под одеяло, согреться после беготни по улице и даже немного вздремнуть перед тем, как мать или кто-нибудь из сестер явится ее будить. Девочка с сомнением покосилась на свисающий с кровати край одеяла и подушку. Мысль о том, чтобы лечь поспать, была очень заманчивой. Только теперь Аня поняла, что сильно замерзла, ее била мелкая дрожь. Внезапно она закашлялась и испуганно

прижала ко рту ладонь – не разбудить бы спящую за стеной младшую сестру Ию! Отняв руку от лица, с еще большим страхом посмотрела на нее – нет ли на ладони крови?

К счастью, крови не было, и девочка, облегченно вздохнув, снова посмотрела на свою мягкую подушку. Но все-таки ложиться спать после только что увиденного любимого зрелища – было в этом что-то неправильное! Ане казалось, что ей хочется чего-то другого, хочется как-то еще «поучаствовать» в похоронной церемонии. И хотя пока она не знала, как и что надо сделать, в ней постепенно крепла уверенность, что спать она в это утро уже не будет.

Все еще вздрагивая от холода, Аня пересела за стол и еще раз выглянула в окно. Улица за кустами была пустынна, медленно шествующая по дороге вереница одетых в траур стариков существовала теперь только в ее воображении. Рассказать бы кому-нибудь об этом странном чувстве, когда видишь что-то не глазами, а в мыслях! Вот только как? Пушкин, Державин и другие поэты выразили бы это стихами, у них бы получилось!..

Аня снова вздрогнула, но теперь уже не из-за того, что ей было холодно. Холод и все прочие неудобства были забыты, отошли куда-то на второй план, перестали иметь для нее хоть какое-то значение. Она придвинула к себе чернильный прибор и принялась шарить в ящиках стола в поисках чистого листа бумаги. Наконец ей удалось найти откуда-то вырванный тетрадный листок. Девочка положила его перед собой и некоторое время сидела неподвижно, глядя на бумагу и не решаясь написать на ней ни слова. Ведь она – не Державин и не Пушкин! Она вообще никто и никогда не пробовала писать стихи. «Но и Державин, и Пушкин тоже когда-то написали свое первое стихотворение», – неожиданно пришло Ане в голову. Мысль эта была такой смелой и даже дерзкой, что девочка в первый момент засмущалась и почти решилась убрать бумагу обратно в ящик и все-таки лечь в кровать. Но протянутая к листу рука так и не взяла его – что-то не давало Ане отказаться от своего замысла. То ли все еще стоявшие у нее перед глазами образы идущих по дороге стариков, то ли странное, торжественное волнение, охватившее ее сразу, как только она подумала о сочинении стихов…

Аня снова взялась за перо, обмакнула его в чернила и вывела на листе несколько слов. Потом зачеркнула их и написала чуть ниже другую строчку. Снова зачеркнула и снова принялась писать. С каждой строчкой ее рука двигалась над бумагой все быстрее, почерк, вначале аккуратный, почти каллиграфический, становился все менее разборчивым. Зачеркивания не

понравившихся слов сделались такими резкими, что в нескольких местах перо едва не прорвало бумагу.

Чистого места на листе оставалось все меньше. Потом он закончился, и Ане пришлось снова рыться в ящиках стола в поисках новой бумаги. Чуть не плача от нетерпения, она перебирала скопившиеся в столе письма, газеты, рисунки, сделанные ею и сестрами, и гимназические тетради прошлых лет, тщетно пытаясь найти среди них хоть один клочок бумаги, пригодный для того, чтобы писать на нем. Ей казалось, что стихотворные строки наконец зазвучали у нее в мыслях красиво и гармонично. Надо было только записать их, но, как назло, писать было не на чем!

Наконец девочке удалось откопать в кипе использованных бумаг еще один чистый лист. И снова перо принялось выписывать на нем неровные синие строчки. Аня окончательно забыла об аккуратности, не следила за тем, чтобы волосяные линии были достаточно тонкими, а нажимы – не слишком жирными. Ей надо было писать, писать как можно быстрее, пока у нее получалось, пока красиво звучащие в мыслях строчки не улетучились у нее из памяти.

Второй лист постигла та же участь, что и первый, – он был весь исписан, исчеркан острым пером и отброшен в сторону. И снова Аня рылась в ящиках, снова пыталась отыскать там чистую бумагу. Ей повезло – в руках у нее оказалась целая школьная тетрадь, последняя из купленной год назад пачки. Девочка открыла ее на первой странице и опять обмакнула перо в чернильницу…

…Еще через несколько минут она отложила перо и, взяв тетрадь дрожащими руками, стала перечитывать написанное. На лице ее застыло задумчивое и неуверенное выражение. Она читала только что сочиненные стихи об умирающем прошлом веке и не могла понять, что чувствует по отношению к ним. Ритм в стихотворении как будто бы не хромал, рифмы тоже получились складными, правильными – но что-то в стихотворении было не так, что-то Ане в нем не нравилось. Понять бы еще что!..

Девочка в очередной раз перечитала стихотворение, и ей наконец стало понятно, почему оно кажется неудачным. Оно не было плохим, но это были не те стихи, которые изначально, когда она только вернулась в свою комнату, сложились у нее в мыслях. Те слова, что она задумала написать, строки, звучавшие у нее в ушах, когда она искала бумагу, были немного другими, более красивыми и поэтичными, более торжественными. Они лучше передавали то мрачное чувство прощания с умирающим веком, которое Аня хотела передать. Ей было очень жаль признавать это,

но, как ни старалась она убедить себя, что ошибается и что собиралась написать именно так, закрыть глаза на очевидное ей не удалось. Написанное, вне всякого сомнения, было хуже, чем то, что крутилось в голове, и с этим уже ничего нельзя было сделать. Даже если бы она перечеркнула все строчки последнего варианта и попыталась написать их заново, у нее все равно не получилось бы задуманное. Яркие образы невозможно было перенести на бумагу, и Аня сильно подозревала, что не сможет сделать этого никогда, даже когда станет взрослой и напишет много других стихов. Но, несмотря на это, она все равно будет пробовать писать стихи и дальше. Может быть, уже совсем скоро, может, даже сегодня вечером…

В дверь ее комнаты негромко стукнули, и она тут же с легким скрипом приоткрылась. В образовавшуюся щель просунулась аккуратно причесанная голова старшей сестры Инны.

– Ты уже не спишь? – удивилась она, увидев Аню сидящей за столом. – А я тебя будить пришла… О, а что это ты делаешь? – ее взгляд остановился на лежащей перед Аней раскрытой тетради.

– Так, ничего… записывала кое-что… – уклончиво ответила Аня, закрывая тетрадь и убирая ее в ящик стола.

– Кое-что? – переспросила Инна, хитро прищурившись, и ее лицо на мгновение озарилось совсем детским любопытством, словно перед Аней была не семнадцатилетняя девушка, а ее ровесница. Однако допытываться у младшей сестры, что же именно ей так срочно понадобилось писать рано утром, Инна не стала, чему Аня была несказанно рада.

– Ладно, выходи завтракать, а я пойду Ию разбужу! – сказала Инна и снова скрылась в коридоре.

Аня кивнула, но, как только за старшей сестрой закрылась дверь, снова достала тетрадь со стихотворением и переложила ее в другой ящик, засунув под другие бумаги. Она не думала, что Инна решит сунуть нос в ее стол, но почему-то так ей было спокойнее. После этого быстро оделась в простое темно-синее домашнее платье, причесалась и вышла в столовую, где уже сидели в ожидании завтрака ее родители, сестра Инна и оба брата. Поздоровавшись со всеми, Аня заняла свое место. Еще несколько минут все в молчании ждали опаздывающую к завтраку младшую из сестер, Ию. Аня украдкой поглядывала на Инну – не рассказала ли та кому-нибудь, что видела у нее на столе тетрадь со стихами? Но старшая сестра казалась погруженной в свои собственные мысли, а все остальные члены семьи вели себя, как обычно, – зевали и нетерпеливо поглядывали на тикающие на стене часы.

Наконец прибежала, на ходу приглаживая свои короткие

растрепанные волосы, пятилетняя Ия.

– Доброе утро! – крикнула она звонким голосом, обращаясь ко всей семье сразу.

– Присаживайся, – ледяным тоном произнес отец семейства, и этого одного-единственного строгого слова, как всегда, оказалось достаточно, чтобы младшая сестра, стушевавшись, заняла свое место.

В полном молчании семья приступила к завтраку. Аня задумчиво ковырялась ложкой в тарелке – мысли ее были очень далеки от каши и молока. Она вспоминала, как пару лет назад вместе с матерью, сестрой и братьями гуляла в парке возле лицея и впервые подумала о том, что по этому же парку, по каждой из дорожек сто лет назад точно так же ходил Пушкин. Что, если попробовать написать стихи об этом?..

Так девочка досидела до конца завтрака, съела всего несколько ложек каши и вернулась в реальность, только когда сидящие рядом брат Виктор и Ия встали из-за стола и громко поблагодарили родителей.

– Спасибо! – повторила вслед за ними и Аня. Теперь ее мысли перекинулись со стихов на более приземленный предмет – как бы выбрать удобный момент и уйти погулять в одиночестве, не дожидаясь, пока братья и сестры тоже соберутся на утреннюю прогулку? С каким бы наслаждением она прошлась по узким и безлюдным переулкам и еще раз прокрутила в памяти только что написанные стихи!

Строя планы «побега» из дома, Аня направилась к дверям, но ее остановил негромкий, но, как всегда, строгий оклик отца:

– Анна, подожди минуту!

– Да, папа? – обернулась девочка с нехорошим предчувствием. Отцовский голос звучал так, словно она в чем-то провинилась и он собирался отчитать ее за это. Что же она опять упустила, что сделала не так? Неужели это то, чего она особенно опасалась, неужели Инна рассказала ему про ее стихи?! Или все-таки, успела она подумать с надеждой, дело в чем-нибудь другом?

Следующий же вопрос отца развеял эту надежду.

– Сочиняешь стихи? – слегка небрежно поинтересовался он.

Аня вздрогнула, но уже в следующий миг неожиданно поняла, что отец спросил это не слишком сердито, хотя и строго. Может, она зря так боялась, что он узнает ее секрет?

– Да, я… попробовала кое-что сочинить, – робко призналась девочка.

– Понятно, – кивнул Андрей Антонович. – Что ж, этим многие балуются, особенно в наше время. Хотя есть много гораздо более

достойных занятий. Мне бы очень не хотелось, чтобы наша фамилия Горенко стояла под какими-нибудь… – он замялся, словно не зная, какое подобрать слово для обозначения стихов, – под рифмованными строчками. Чтобы кто-нибудь узнал, что дочь Горенко… какая-то поэтесса…

– Да, папа, вы правы, – тут же кивнула головой Аня.

– Очень рад, что ты меня поняла, – удовлетворенно улыбнулся Андрей Антонович.

Аня еще раз кивнула и вышла из столовой. О том, чтобы улизнуть на прогулку, теперь не могло быть и речи – достаточно и одного выговора в день. Поэтому она поспешно скрылась в своей комнате, взяла с полки первую попавшуюся книгу и села за стол, решив сделать вид, что читает.

«Какая-то поэтесса!» – повторила она про себя презрительные слова отца, и ей стало стыдно за свое первое стихотворение. Теперь, после этих слов, ей казалось, что она совершила что-то ужасно неприличное.

Но в ящике стола была спрятана тетрадь с этими первыми стихами и с множеством чистых страниц. А сама Аня уже задумала сочинить стихотворение про юного Александра Пушкина в Царском Селе. И, кажется, даже придумала, как его начать…

Девочка опустила глаза на раскрытую книгу и тихо ахнула от удивления. «Отечество нам – Царское Село!» – гласила первая бросившаяся ей в глаза строчка.

Аня медленно отодвинула сборник стихов Пушкина в сторону и, чувствуя себя безмерно виноватой перед отцом, нагнулась к ящику с тетрадкой.

Глава III Россия, Царское Село, 1903 г.

Божий Ангел, зимним утром
Тайно обручивший нас,
С нашей жизни беспечальной
Глаз не сводит потемневших.

А. Ахматова

Выходить из жарко натопленного дома Срезневских на мороз было неприятно даже в полушубке и муфте. Аня специально не торопилась на улицу – медленно застегивалась, долго и старательно убирала растрепавшиеся волосы под пуховый платок. Подруга Вера и ее младший брат Сергей тоже одевались без особой спешки, и Ане даже пришлось их ждать, что тоже немало обрадовало не желающую мерзнуть девушку. Однако в конце концов подруги закутались в шубы и платки, поворчали на копающегося Сережу и, заранее ежась от холода, направились к выходу.

На улице яркое, хоть и не греющее солнце и сверкающий под его лучами недавно выпавший чистый снег, еще не успевший посереть от дыма и пыли, немного примирили Аню с холодом, и на ее лице появилась легкая улыбка. Хоть она и не любила зиму, этот день обещал быть приятным. Сейчас они с Верой прогуляются по торговым рядам, докупят мишуры для елки, полюбуются другими красивыми игрушками… А вечером – Рождество, они соберутся дома всей семьей, и отец тоже будет с ними. Когда же все разойдутся спать, она останется одна в своей комнате, зажжет свечу и будет писать…

– Может, после Гостиного в кондитерскую зайдем? – спросила Верочка, возвращая подругу к более приземленным вещам.

Аня со вздохом посмотрела на уходящую вдаль скользкую дорогу. Впереди виднелось здание гимназии, где они с Верой учились, а напротив него – невзрачный, но любимый девушками магазин, торгующий сладостями. Она бы с огромным удовольствием съела кремовое пирожное и заодно посидела еще немного в тепле, перед тем как идти домой, но оставшихся у нее карманных денег хватило бы только на елочные украшения. О лакомствах, даже самых дешевых, на сегодня стоило забыть.

– Давай в другой раз? – небрежно предложила Аня подруге.

Вера и Сережа разочарованно поджали губы, но настаивать на

своем не стали, догадавшись об истинной причине ее отказа от сладкого.

– Ну, ла-адно… – с чуть заметным недовольством протянула Верочка, но уже в следующую секунду ее лицо снова озарилось улыбкой: – Ой, это же мальчики Гумилевы! – замахала рукой двум идущим им навстречу по другой стороне улицы юношам: – Митя, Коля, идите сюда!

Аня с интересом посмотрела на молодых людей, но когда те, тоже узнав Веру, двинулись в их сторону, скромно опустила взгляд, а левой рукой привычным движением взялась за край длинной форменной юбки, приготовившись сделать реверанс.

– Добрый день, Вера, здравствуй, Сергей, – сказал один из юношей, одетый в форму Морского кадетского корпуса. Его спутник – невысокий и довольно щуплый молодой человек в гимназической шинели – поприветствовал брата и сестру Срезневских молчаливой улыбкой. Они были похожи друг на друга и по-своему красивы, но их лица показались Ане ничем не примечательными.

– Это Дмитрий Гумилев, а это его брат Николай, – принялась тем временем знакомить их с Аней ее одноклассница. – Мы вместе занимались музыкой, помнишь, я тебе как-то рассказывала? А это, – повернулась она к братьям, – Анна Горенко… Мы вместе учимся в гимназии.

Последовали поклоны и реверансы, уверения, как всем троим приятно быть представленными друг другу, улыбки… Юный Сережа со скучающим видом отвернулся и стал рассматривать прохаживающихся по краю тротуара голубей. Аня, уделив новым знакомым ровно столько внимания, сколько требовали светские приличия, тоже перевела взгляд на виднеющийся вдалеке вход в Гостиный двор, и, уловив его, Вера в очередной раз улыбнулась Гумилевым:

– Мы шли в Гостиный, нам надо елочные украшения купить…

– Позвольте составить вам компанию! – тут же предложил Дмитрий.

– Благодарю, с удовольствием! – отозвалась Срезневская, бросив на Аню быстрый вопросительный взгляд – не возражает ли та, чтобы новые знакомые пошли вместе с ними? Аня, тоже улыбнувшись, вежливо кивнула. Особого восторга предложение Гумилевых у нее не вызвало, но не спорить же теперь с Верой? И они зашагали к торговым рядам впятером. Впереди – Сережа, от нетерпения то и дело порывающийся перейти на бег вприпрыжку, но потом останавливающийся, чтобы подождать остальных. За ним – Вера с Митей, которые тут же завели оживленную беседу о своем учителе музыки и стали хихикать, вспоминая какие-то

забавные случаи на его уроках. Последними шли Аня и Николай.

Поначалу оба молчали, не зная, как начать разговор. Николай бросал на идущую рядом с ним девушку робкие, но полные интереса взгляды. Когда Вера подозвала их с братом и начала знакомить со своей подругой, он был уверен, что перед ним такая же веселая и легкомысленная гимназистка, как и сама Срезневская, однако стоило Ане перестать вежливо улыбаться, и ему стало ясно: он ошибся. В этой девушке чувствовались и серьезность, и утонченность, и еще что-то неуловимое, чего Николай пока не понял, какая-то загадка, которую ему сразу же захотелось разгадать.

– А что вы хотите купить? – наконец решился Николай завести беседу.

– Сами пока не знаем – какие-нибудь украшения для елки, – равнодушно повела плечами Аня. – Посмотрим, что там есть, и тогда уж выберем.

– А как вы будете отмечать Рождество?

– Как и все, дома, в семейном кругу, – кинула она на него безразличный взгляд.

О чем еще говорить, Николай не знал. К счастью, вся их компания к тому времени дошла до входа в Гостиный двор, и Аня с Верой завертели головами, высматривая ряды, где торговали рождественскими украшениями и подарками. Николай наклонился к ближайшему торговцу тканями, быстро узнал у него все, что нужно, и повернулся к девушкам:

– Идемте за мной, я вам покажу, где мишура продается! – И быстрым шагом двинулся сквозь толкающуюся у прилавков толпу, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что все остальные поспевают за ним.

Путь к нужному прилавку занял у них немало времени. В Гостином дворе было слишком много народу, вспомнившего в последний день перед Рождеством о том, что им не хватает подарков, сладостей или еще чего-нибудь, крайне необходимого для праздника. Невысокому и щуплому Николаю было нелегко протискиваться сквозь эту толпу, но он старательно расчищал дорогу для своих спутников, и в конце концов компания добралась до своей цели. На широком прилавке блестели оклеенные фольгой дрезденские игрушки, изображающие ангелов и разных лесных зверей, за ними возвышалась горка «огней без запаха», а рядом свешивались почти до пола листы разноцветной бумаги и все той же сверкающей фольги для упаковки подарков. Вера Срезневская замерла возле игрушек, рассматривая их придирчивым взглядом. Аня тоже подошла к прилавку и, протянув руку к одному из картонных ангелов, провела пальцами

по его крыльям. Лицо у нее при этом было таким задумчивым, словно она не просто решала, купить игрушку или нет, а размышляла о чем-то крайне важном и серьезном. Или, как неожиданно осенило украдкой наблюдавшего за ней Николая, сочиняла стих об ангеле!

Он и сам не знал, откуда пришла ему в голову эта мысль, ведь ему никогда не приходилось видеть, как пишут стихи другие люди. Но почему-то он был уверен, что у поэта, складывающего в уме строки нового стихотворения, должно быть именно такое выражение лица – отрешенное от всего мира, радостное и слегка нетерпеливое…

– Ну, что, Аня, берем этих ангелочков? – громко спросила Вера.

Аня чуть заметно вздрогнула, улыбнулась Вере, но брови ее слегка нахмурились, а во взгляде промелькнуло недовольство. Все это тоже не укрылось от внимания Николая, и если раньше у него еще были сомнения в сделанной им догадке, то теперь он окончательно убедился: Аня пыталась что-то сочинить, и ее раздражала так не вовремя начавшая задавать вопросы Срезневская.

С этого момента все мысли младшего Гумилева были о том, каким образом заговорить с новой знакомой о поэзии. Если бы ему это удалось, если бы он смог ненавязчиво рассказать ей о своих стихах и сделать так, чтобы она доверилась ему и прочитала что-нибудь из собственных сочинений, у них появилась бы неиссякаемая тема для бесед! Но пока повода для разговора на такие возвышенные темы что-то не представлялось. Вера звонко щебетала о выборе елочных игрушек, Аня рассеянно отвечала подруге, что та может выбрать любые украшения на свой вкус, а Сережа и Митя со скучающим видом ждали, когда же Срезневская наконец определится. Николай облокотился на край прилавка и терпеливо ждал. Как бы долго ни делали девушки покупки, рано или поздно это должно закончиться. И тогда они с Митей предложат проводить их до дома, а по дороге он обязательно снова заговорит с Анной!

Однако всем этим планам на откровенные разговоры не суждено было сбыться. После того как Вера набрала понравившиеся ей игрушки и поторговалась с продавцом, Аня осталась такой же задумчивой, как и прежде, а на предложение Николая проводить ее домой ответила вежливым отказом:

– Благодарю вас, но нам не очень далеко идти.

– Но мы бы помогли вам игрушки донести! И ваши книги тоже, – не сдавался Николай, кивая то на большой сверток в руках у Веры, то на Анину связку книг и пенал.

– Не стоит беспокоиться, они не тяжелые, – поспешно заверила его Аня.

Митя, встав за спиной у девушек, скорчил брату недовольную рожицу – ему вовсе не улыбалось провожать домой болтушку Веру и неразговорчивую Аню. Но Николай сделал вид, что не замечает посылаемых братом знаков. Как ни сочувствовал он заскучавшему Мите, отказаться от шанса подольше побыть рядом с загадочной новой знакомой было выше его сил.

– А в какую вам сторону? – задал он вопрос более разговорчивой Вере, и та, как молодой человек и ожидал, тут же принялась объяснять ему, что сначала они с Аней зайдут к ней домой, чтобы закончить наряжать рождественскую елку. Митя закатил глаза и незаметно от девушек и Сережи показал брату кулак. Коля ответил ему грустным виноватым взглядом. Ему стало ясно, что их знакомство с подругой Веры так и останется шапочным.

Все вместе они вышли из Гостиного двора, и Вера принялась прощаться с Гумилевыми.

– Рад был познакомиться, очень рад, – сказал Николай Ане, но в ответ получил лишь вежливый кивок и ни к чему не обязывающие слова:

– Я тоже очень рада.

– До встречи! И счастливого Рождества! – пожелал девушкам и юному Сереже Митя, после чего ухватил Колю за локоть и потянул его прочь от торговых рядов.

– Пошли, нас давно дома ждут, – пробурчал он младшему брату в ухо. – Сколько можно болтать?

Николай не отвечал. Ему не хотелось спорить с братом, и он послушно шел следом за ним, лишь поминутно оглядывался, чтобы посмотреть на удаляющуюся в другую сторону Анну и ее друзей. Вера и Сережа Срезневские о чем-то разговаривали, оживленно размахивая руками, а Аня шла рядом с ними, но так, словно они были не вместе – не принимая участия в их разговоре и даже не кивая им из вежливости. Николай мог поспорить на что угодно: она снова погрузилась в мысленное сочинение стихов…

Вера Срезневская тоже заметила задумчивость подруги, но приписала это совсем другой причине.

– Тебе не понравились Митя с Колей? – спросила она, когда они уже подходили к дому.

– Да нет, почему же… – пожала плечами Аня. Обижать подругу ей не хотелось, но изобразить интерес к новым знакомым было так трудно, что от Веры не укрылись ее истинные чувства, и она утвердительно кивнула:

– Не понравились. Жаль… Они – очень хорошие мальчишки,

разве что Митя бывает иногда занудой. А вот Коля – он такие интересные вещи рассказывает, заслушаешься!

– В самом деле? – с легкой усмешкой бросила Анна.

– Да, сегодня он что-то был совсем не разговорчив… – развела в ответ руками Вера. – Сама не понимаю, что на него нашло! Может, просто не в настроении сегодня или у него случилось что-нибудь… Надо будет Митю спросить!

Аня снова пожала плечами. Если у ее нового знакомого и были какие-то неприятности, ее это совершенно не интересовало. Однако Вере, по всей видимости, очень хотелось реабилитировать своих друзей в ее глазах, потому что она продолжала болтать о них без остановки:

– Этот Коля знает все о других странах! Об Африке, о Бразилии, об Австралии… Заслушаешься! Он знает, какие там туземцы, какие животные – как будто сам там был и собственными глазами все видел. Если мы еще с ними встретимся, надо будет обязательно завести с ним разговор об Африке, это будет очень интересно!

– Можно будет, да, – без всякого энтузиазма согласилась Анна. Они уже подходили к дому Срезневских, и она с радостью подумала о том, что сейчас согреется. А еще о том, что ее подруге придется отвлечься от болтовни о младшем Гумилеве, чтобы показать матери купленные игрушки.

Однако Вере очень хотелось рассказать о Николае Гумилеве все, что она знала, и сразу же после показа покупок она снова вернулась к волновавшей ее теме.

– Митя рассказывал, что у Коли дома вся комната разукрашена – как будто там подводный мир! – щебетала она, стоя на стуле перед упирающейся в потолок рождественской елкой и развешивая на нее принесенных из Гостиного двора игрушечных ангелов. – Он все стены выкрасил в сине-зеленый цвет, как морская вода, сам выкрасил! И нарисовал на них рыб, и водоросли, и раковины всякие… И потолок так же покрасил, можешь себе представить? Подай мне еще вон ту гирлянду, пожалуйста!

– Да, это очень необычно, – признала Анна, вручая подруге длинную цепочку мишуры. «Попробовала бы я в своей комнате хоть одну вещь с места на место переставить, а не то что на стенах рисовать, – меня бы отец, наверное, сразу же на месте убил! – грустно усмехнулась она про себя. – А этим Мите и Коле родители, похоже, слишком много всего разрешают…»

– А еще он стихи пишет! – добавила Вера и спрыгнула со стула. – Они с Митей мне кое-что читали. Ничего так, красиво…

В глазах Анны промелькнуло удивление, но расспрашивать

Срезневскую подробно о стихах ее нового знакомого она после некоторого раздумья все же не стала. «О чем может сочинять стихи человек с таким несчастным и загадочным выражением лица? – вновь подумала она с усмешкой. – Наверняка о безответной любви к выдуманной идеальной красавице и о том, что его жизнь скучна и бессмысленна! Знаю я таких поэтов, читала…» Ей сразу же вспомнились стихотворения с подобными описаниями, которые тайком от учителей записывали в свои тетрадки ее одноклассницы в гимназии, у них всегда была такая же напускная загадочность во взглядах, и они даже не догадывались, как смешно и глупо выглядят со стороны. И если в первый момент, когда Анна услышала от Веры о том, что младший Гумилев пишет стихи, ей захотелось прочитать что-нибудь из его сочинений, то теперь такое желание пропало начисто.

Не мог этот худой и бледный молодой человек, явно воображающий себя романтическим героем и прикладывающий множество усилий, чтобы окружающие тоже считали его таковым, быть на самом деле интересной личностью. Как, впрочем, не мог ей быть интересен и его брат, и любой другой молодой человек из числа знакомых Веры и других ее приятельниц. Ни один мужчина не был и никогда не стал бы для нее более привлекательным, чем студент восточного факультета Петербургского университета, с которым Анна познакомилась год назад и о котором до сих пор вспоминала каждый день. Владимир Голенищев-Кутузов…

– Вера, Сережа, пойдем послезавтра на каток? – спросила своих друзей Анна, решительно меняя надоевшую ей тему разговора. Вспоминать о Владимире, слушая болтовню Срезневской, ей не хотелось, обсуждать дальше братьев Гумилевых – тем более.

– Пойдем, обязательно! – обрадовался ее приглашению Сергей и, выбрав удобный момент, когда сестра отвернулась от елки, незаметно снял с одной из нижних веток конфету в золотой бумаге. Это не укрылось от Ани, но она великодушно сделала вид, что ничего не заметила.

– Да, можно будет сходить, если не потеплеет, – согласилась Вера. – И давай Митю с Колей тоже позовем! Знаешь, они так здорово катаются на коньках…

Анна испустила тяжелый вздох и закатила глаза…

Глава IV Россия, Царское Село, 1905 г.

Чем хуже этот век предшествовавших?
Разве
Тем, что в чаду печалей и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог?

А. Ахматова

Аня робко заглянула в комнату матери. Та сидела за столом и пришивала к своему старому платью новые пуговицы. Услышав легкий скрип двери, она подняла голову и вопросительно посмотрела на дочь.

– Мама! – Девушка подошла к столу и остановилась в нерешительности. – Сегодня Кривичи опять гостей собирают. Инна и Сергей Владимирович туда пойдут…

Мать молча вздохнула и стала вдевать нитку в иглу. Аня выждала несколько секунд, надеясь услышать хоть какой-то ответ, но затем, видя, что Инна Эразмовна не хочет поддержать разговор, сделала еще одну попытку добиться желаемого:

– Вы же знаете, там все очень прилично. Мы просто пьем чай и разговариваем. Некоторые читают стихи… Там никто не делает ничего плохого… Ведь Инна же туда ходит!

Ответом ей снова было молчание. Мать вдела нитку и привычным быстрым движением завязала на ее конце узелок. Аня оглянулась на закрытую дверь, уже подумывая о том, чтобы смириться с поражением и уйти, но в последний момент все же решила испробовать еще один аргумент:

– Честное слово, папа ни о чем не узнает! Вы ведь знаете Инну, она никогда ничего ему не рассказывает и теперь тоже меня не выдаст!

Наконец мать отреагировала на слова дочери – отложила в сторону иголку, подняла голову и тяжело вздохнула:

– Инна, может быть, и не выдаст, но если ее муж случайно проболтается? Или сам Кривич?

– Они не проболтаются, – стараясь, чтобы ее голос звучал как можно убедительнее, ответила Анна. – Зачем им это вообще нужно, зачем им хоть что-то говорить обо мне, им до меня нет

никакого дела!

– А если им нет до тебя дела, зачем ты к ним бегаешь? – строго спросила Инна Эразмовна.

Девушка в ответ только развела руками. Что ответить на такой вопрос? Зачем люди общаются с теми, кто им интересен, зачем слушают чужие беседы об увлекательных вещах? Разве это объяснишь в двух словах? Она, может быть, сумела бы написать об этом стихи и передать в них те чувства, с которыми каждый раз бежала в гости к супругам Кривичам. Но вот рассказать об этом матери обычными словами – это чересчур сложно!

– Понимаете… там интересно… – с трудом выдавила из себя Аня. – Мы там разговариваем о разном… вообще обо всем… О том, что сейчас делается в стране, в Петербурге и Москве… А еще там иногда бывают поэты, они свои стихи читают, и все их потом обсуждают… Сам Иннокентий Федорович иногда читает… – она замолчала, не зная, что говорить дальше, и почти уверившись, что на этот раз в гости к родственникам мужа Инны ее не отпустят. Слишком уж беспомощно звучали ее объяснения, и слишком суровый вид был у матери, когда она их слушала.

Инна Эразмовна тоже молчала, словно выжидая, не захочет ли дочь добавить что-нибудь еще. Но Аня уже мысленно готовилась к бесконечно длинному тоскливому зимнему вечеру за учебниками и даже не пыталась больше уговаривать мать.

– Ладно уж, иди, – вдруг сказала Инна Эразмовна, и Аня вскинула голову, глядя на нее полными изумления глазами. Неужели она не ослышалась?! Неужели мать все-таки согласна отпустить ее в гости, несмотря на запреты отца, и готова скрыть это от него?

– Спасибо… – только и смогла выговорить она. Ее лицо мгновенно озарилось таким счастьем, что Инна Эразмовна тоже невольно улыбнулась. Как ни тяжело было каждый раз обманывать мужа, говоря, что Анна в гостях у кого-то из гимназических подруг, отказать ей в этой просьбе было невозможно. У девочки не так уж много приятных событий в жизни, пусть порадуется хотя бы этим встречам с другими стихотворцами!

– Иди, но чтобы до двенадцати часов была дома, – сказала она, вновь переходя на строгий тон. – И чтобы отец ничего об этом не узнал.

– Да, мама, конечно! – пообещала Аня, прижимая руки к груди, и поспешно выскочила из комнаты, пока Инна Эразмовна не передумала.

Сдержать свою радость и не показать ее никому из родных было сложно, но девушка уже овладела этим умением в

совершенстве. Тем более что ей нужно было потерпеть совсем не много – пока она не вырвется из дома. А уж дальше можно будет полностью отдаться этому новому чувству, которое она недавно узнала и без которого теперь уже не могла обходиться, – ощущению свободы.

Оказавшись в своей комнате, Аня вприпрыжку подбежала к шкафу и вытащила из него давно надоевшее темное гимназическое платье. Как жаль, что нельзя одеться в гости хоть немного наряднее! Но если она выберет одно из своих выходных платьев – тоже неброских, но достаточно красивых, – отец ни за что не поверит, что она идет в гости к Вере или Вале. Для встречи со школьными подругами не наряжаются!

Впрочем, невозможность надеть то, что хочется, единственный неприятный момент в визитах Ани к старшей сестре Инне и родным ее мужа. По сравнению с той радостью, которую доставляли ей встречи с ними, это всего лишь ничего не значащая мелочь, на которую вполне можно не обращать внимания.

Переодевшись, Аня гладко причесала свои темные, сильно отросшие в последнее время волосы и еще раз забежала в комнату к матери. Инна Эразмовна все так же сидела за столом, теперь зашивая старую юбку Ии, и снова подняла на дочь бесконечно усталые глаза.

– Мамочка, ну, я… побежала? – робко спросила девушка.

– Беги, – кивнула мать, – только не задерживайся. До двенадцати обязательно домой!

– Да, мама, да! – Аня выскочила обратно в коридор.

«Я прямо как Золушка в сказке, отпускают на бал, но только до полуночи!» – посмеивалась она про себя, выбегая из дома и на ходу наматывая на голову теплый пуховый платок. Наставления матери, всегда угнетавшие девушку дома, теперь казались совсем не строгими и даже забавными. Наверное, причина была в том, что она вырвалась из дома почти на пять часов. И все это время никто не будет делать ей замечания или смотреть на нее укоризненным взглядом, что бы она ни делала и как бы себя ни держала. Впереди было нечто гораздо более приятное, чем сказочный бал, – литературный вечер у супругов Кривичей, у разговорчивого и остроумного Валентина Иннокентьевича и доброй улыбчивой Наташи. А еще там обязательно будут сестра Инна с мужем и скорее всего сам Иннокентий Федорович! Если он спустится к ним, как в прошлый раз, и снова примет участие в их беседе – это будет просто замечательно! Конечно, Валентин и Наталья наверняка пригласили к себе еще кого-нибудь из начинающих поэтов и писателей, которых тоже интересно

послушать, но главное все-таки – это господин Анненский, его стихи и его рассуждения обо всем на свете. Если он тоже будет на вечере, Анна точно не зря отпрашивалась у матери и рисковала навлечь на себя гнев отца!

С этими мыслями девушка вприпрыжку неслась по улицам, почти не глядя по сторонам. Дорогу в мужскую гимназию, в здании которой жили ее директор Иннокентий Анненский и его сын Валентин Кривич, она и так прекрасно помнила и, если бы понадобилось, смогла бы дойти туда с закрытыми глазами. Лишь свернув в один из малолюдных узких переулков, Аня стала посматривать вокруг более внимательно: в этом месте, как и в других подобных улочках, в последнее время все чаще собирались разные подозрительные личности. В гимназии то и дело можно было услышать рассказы учениц об их знакомых, у которых грабители отнимали кошельки или отбирали дорогую меховую шубку. В лучшем случае жертве удавалось добежать до людных и ярко освещенных мест, отделавшись только испугом. Но Аня совсем не была уверена, что, если нападут на нее, она сумеет достаточно быстро убежать от грабителей по скользкой дороге, поэтому старалась соблюдать осторожность и даже сделала небольшой крюк, обходя показавшуюся ей особенно подозрительной улицу. Время у нее было, она специально вышла из дома с небольшим запасом.

Наконец впереди показалось хорошо знакомое девушке здание мужской гимназии. Теперь, в вечернее время, когда все занятия закончились и шумные озорные ученики разошлись по домам, гимназия выглядела заброшенной: двери закрыты, а в плотно занавешенных окнах – ни огонька. Когда Аня пришла в гости к своим новым родственникам впервые, вид этих темных окон и тишина вокруг показались ей чуть ли не зловещими. Но с тех пор, несколько раз побывав в этом доме по вечерам, она привыкла к притихшей гимназии и теперь знала, что все самое интересное происходит в этом здании не днем, когда оно гудит от множества детских голосов, а именно вечером и ночью, когда в нем собираются взрослые!

Девушка обежала вокруг дома, подошла к неприметной задней двери и дернула за шнурок звонка. Ей пришлось ждать несколько минут, прежде чем дверь приоткрылась и горничная с почти догоревшей свечой в руке впустила ее на темную лестницу, ведущую в жилые помещения директора гимназии. Аня нащупала ногой первую ступеньку, схватилась за перила и с легкостью взбежала по лестнице почти в полной темноте, не дожидаясь запирающей дверь горничной.

– Можно? – спросила она, приоткрывая хорошо знакомую

дверь и заглядывая в просторную, но благодаря слабому свету всего трех небольших свечей уютную комнату.

– Входи, Аня, входи, мы только тебя ждем! – ответил ей из полумрака радостный голос старшей сестры Инны.

Девушка радостно вбежала в комнату и уселась на свободный стул рядом с сестрой. Перед ней тут же появилась чашка, полная ароматного, дымящегося паром горячего чая, а на блюдце рядом с ней – круглый, блестящий глазурью пряник. Супруг Инны заботливо придвинул к ней поближе сахарницу с начищенными щипцами, в которых отражался яркий огонек свечи.

– Что, отец не хотел тебя отпускать? – шепотом спросила Инна.

– Мама не хотела, но потом согласилась, – так же шепотом ответила Анна. – Но только до двенадцати.

– Мы сегодня тоже пораньше уйдем и тебя домой проводим, – пообещала ей сестра. Голос ее звучал хрипло, и, закончив фразу, она вдруг тихо закашлялась.

Аня пригляделась к Инне и с тревогой заметила, что у той опять очень болезненный вид. Даже в неярком свете горящей рядом свечи лицо молодой женщины было нездоровым и бледным, а под глазами темнели синеватые круги. Очередная зима снова тяжело отразилась на ее хрупком здоровье – не помогло даже лето, которое семья Горенко, как обычно, провела в Крыму. Хотя настроение у Инны, несмотря на это, было веселым и благодушным, и на ее худом, вытянувшемся лице сияла радостная улыбка.

«Здесь просто слишком темно, вот и кажется, что она совсем бледная, ей на самом деле наверняка лучше!» – попыталась успокоить себя Аня. Но собственные слова показались ей неубедительными, и она решила обязательно спросить у сестры, как та себя чувствует и не обострился ли у нее туберкулез. Правда, сделать это надо только в конце вечера, по дороге домой – не портить же Инне настроение!..

– Ну, что, мы все собрались, никого больше не ждем? – поинтересовалась тем временем Инна.

– Все вроде бы, – ответил с другого конца стола голос Иннокентия Федоровича.

Аня на время отвлеклась от своих беспокойных мыслей о сестре и оглядела гостиную. В этот вечер в гимназии собралось не так уж много людей. На своем обычном месте во главе стола сидел Анненский. Рядом неторопливо помешивал ложечкой чай его сын Валентин Кривич. Напротив него расположилась жена Валентина Наталья, погруженная в какие-то свои мысли, – вид у нее был совсем отрешенный. Инна и ее муж улыбались друг другу

с разных концов стола. А между ними, смущенно уставившись в свои чашки с чаем и лишь изредка поднимая глаза на хозяина дома, притаились несколько гимназистов. Одного или двух из них Аня как будто бы узнала в лицо – наверное, они уже бывали на таких вечерах, хотя их имен девушка не запомнила. Ученики, которых Кривичи приглашали к себе, часто менялись: кому-то разговоры поэтов и их родных казались скучными, кому-то – слишком заумными, и, побывав на одном таком вечере, они больше не приходили. Зато вместо них за столом у сына Анненского оказывались другие – заинтересованные и безмерно счастливые оттого, что их пустили на такой «взрослый» вечер, где велись по-настоящему важные беседы. «Интересно, а почему Николая сюда не приглашают? – вспомнила вдруг Анна своего старого знакомого, который время от времени писал ей письма и хвастался своими новыми стихами. – Он ведь недавно целый сборник стихов издал! Может, дело в том, что он учится не очень хорошо?»

Девушка робко улыбнулась хозяевам дома и их гостям и сделала глоток чая. Вечер, на который она так стремилась попасть, начался. Валентин Кривич, еще раз спросив всех гостей, благополучно ли они добрались до гимназии, завел разговор о том, насколько опасно стало ходить по улицам даже днем, не говоря уже о вечернем времени. С этого беседа перекинулась на события, творившиеся в последнее время в Петербурге, и Аня на некоторое время забыла и о том, где находится, и о том, когда ей необходимо вернуться домой. Запреты отца, жалобные просьбы матери не сердить его лишний раз – все это было такой мелочью по сравнению с тем, что происходило в стране!

– Да какая разница, кто там был прав, а кто – виноват? Так ли важно, кто начал стрелять первым?! Это уже не важно, важно то, что теперь у нас на улицах одни русские люди начали стрелять в других русских людей! – доказывал Иннокентий Федорович, и его голос звучал как-то по-особенному серьезно. – Вы понимаете, что будет дальше? Понимаете, что такое теперь будет повторяться?!

Его друзья и родственники не спорили. У них такого желания и не было – все с ужасом вспоминали новость о кровавом побоище в Петербурге и о том, кто виноват в случившемся, готовы были думать в последнюю очередь. Не так часто на вечерах у Кривичей заходила беседа о политике! Ане тоже хотелось высказаться, поддержать хозяина дома и признаться, что трагедия, случившаяся в столице, напугала и возмутила ее, но девушка стеснялась вмешиваться во «взрослый» разговор. Оставалось только слушать Анненского и Кривича, незаметно кивая после каждого их утверждения и страстно желая, чтобы их

спор и вообще весь этот вечер не заканчивались как можно дольше.

В конце концов отец и сын немного выпустили пар, беседа перешла на более мирные темы, и к ней подключились сначала Инна с мужем, а потом и осмелевшие гимназисты. Говорили о последних номерах литературных жур-налов и опубликованных в них произведениях, хвалили и критиковали работы новых, пока еще малоизвестных авторов. А еще чуть позже, когда чай был выпит, и Наталья заботливо предложила всем «еще по чашечке», в полумраке гостиной зазвучали наконец стихи. И снова все, кроме Иннокентия Федоровича и его сына, притихли и затаили дыхание – теперь уже из-за того, что боялись нарушить воцарившуюся за столом романтическую атмосферу. Молчала, забыв обо всем, и Аня.

К счастью, забыть о том, что ей необходимо быть дома до полуночи, девушке не дала старшая сестра. В полдвенадцатого она незаметно толкнула Аню в бок и взглядом указала на тикающие возле стены часы. Анна так же молча кивнула и осторожно, стараясь не шуметь, стала отодвигать свой стул от стола.

Инна с мужем довели девушку до самого дома, но заходить, как всегда, не стали.

– Кривичи обидятся, если мы сильно задержимся, – развела руками Инна, и Аня понимающе кивнула. Будь ее воля, она бегом помчалась бы обратно, к оставшимся в гостиной Валентину и Наталье, к дрожащим свечам и звучащим в тишине стихам. Но ее ждали дома родители…

Она прошла по темному коридору к двери, ведущей в спальню матери, и уже собралась постучать, чтобы сообщить о своем возвращении в условленное время, как внезапно из комнаты послышались громкие раздраженные голоса, и девушка испуганно опустила руку. За дверью ссорились родители. Это было далеко не в первый раз, и Аня хорошо знала, что вмешиваться в их перебранку нельзя – это рассердит их еще больше, к тому же они обозлятся еще и на нее. Ждать под дверью, когда отец с матерью закончат выяснять отношения, тоже не стоило: они вполне могли спорить ночь напролет. Вздохнув, девушка осторожно отступила назад, стараясь, чтобы мать с отцом не услышали ее шагов. Пол под ее ногами заскрипел, но супруги Горенко были слишком поглощены ссорой, чтобы обратить на это внимание.

– Если мы такие ничтожные, если мы так недостойны тебя – то оставь нас, иди куда хочешь! – донесся до Ани плачущий голос матери. – Я тебя не держу! И дети уже выросли! Нам ничего от

тебя не нужно, зачем ты нас мучаешь?!

Что ответил отец, Анна не разобрала – его голос звучал глухо, но по интонации нетрудно было понять, что он тоже на взводе и не старается избежать грубостей. Девушка попятилась назад, дошла до своей комнаты и неслышно повернула дверную ручку.

Оказавшись у себя в спальне, она села на кровать и закрыла лицо руками. Для нее уже давно не было секретом, что отношения родителей окончательно испортились, что отец с трудом терпит мать и что ему хотелось бы порвать с семьей и жить отдельно. И все равно слышать их взаимные обвинения и ждать окончательного разрыва было невыносимо. Ане больше всего на свете хотелось надеяться, что случится чудо, и родители снова начнут понимать друг друга. Пусть не любить, но хотя бы понимать…

За стеной послышались возмущенный возглас матери и громкий стук двери. Аня обняла подушку, придвинулась с ней к стене и закрыла глаза. В ушах у нее зазвучали услышанные сегодня стихи Анненского, и вскоре они заглушили все раздававшиеся в соседней комнате крики. А потом чужие стихи сменились строчками ее собственного стихотворения – одного из последних, которое она очень хотела, но все-таки постеснялась прочитать Анненскому и Кривичам. Так же, как стеснялась прочесть им и другие свои творения.

Глава V Франция, Париж, 1907 г.

На руке его много блестящих колец —
Покоренных им девичьих нежных сердец.

А. Ахматова

Николай неторопливо и осторожно шагал по скользкой мостовой и думал о том, что название улицы, на которой он снимал комнату, совсем не соответствует ее внешнему виду. В переводе на русский язык она называлась улицей Веселья, но выглядела всегда очень мрачной и скучной. Особенно зимой, когда серые стены домов еще сильнее темнели от дождей или редко выпадающего мокрого снега, а солнце не освещало их, скрытое плотными тучами. В такие дни даже витрины магазинов, обычно ярко украшенные, а вечером еще и освещенные разноцветными огнями, казались блеклыми и словно бы покрытыми тонким слоем пыли. А вся улица в целом напоминала молодому человеку улицы Санкт-Петербурга, такие же сырые и бесцветные почти в любое время года. «Стоило ли ради этого уезжать из России?» – вздыхал Гумилев в такие минуты и стремился поскорее дойти до своего дома. Там, в крошечной комнате с низким потолком, было тепло и уютно. Особенно если задернуть шторы, зажечь лампу и постараться не думать о холоде и сырости за окном.

Но ускорить шаг означало почти обязательно поскользнуться, упасть на мокрую мостовую и потом долго сушить мгновенно впитавшую в себя влагу шинель. А на следующий день дрожать на ветру, потому что она все равно не высохла бы до конца… Нет уж, лучше идти помедленнее и внимательно смотреть под ноги! Тем более что глазеть по сторонам все равно совершенно не интересно, эту улицу он видел уже сотни раз и помнил каждый расположенный на ней дом, каждую витрину и дверь. Да к тому же торчащая над домами верхушка стальной башни Эйфеля так портит этот и без того не особо красивый городской пейзаж!

Вспомнив о башне, Гумилев машинально поднял голову, и его взгляд тут же наткнулся на ее уходящее в небо острие. Кусок железа среди старинных каменных домов – что может быть более нелепым? И когда уже этот кошмар разберут на части? Городские власти давно это обещают, почти восемнадцать лет, но до дела так и не доходит, и сколько еще башня будет раздражать местных

жителей и тех, кто приехал в Париж полюбоваться его красотой, неизвестно. Может, еще столько же лет, может, больше…

Башня, о которой Николай так некстати вспомнил, окончательно испортила ему настроение. Размышления его почему-то перекинулись с башни на Анну Горенко – возможно, из-за того, что та родилась в тот же год, когда в Париже установили эту уродливую конструкцию. Молодой человек даже удивился, какой извилистый путь на этот раз выбрала его мысль, чтобы прийти к девушке, о которой он безуспешно старался думать как можно реже. Все-таки против собственной природы не пойдешь! Никуда он не денется от воспоминаний об Анне, она всегда незримо будет рядом с ним. Нечего даже пытаться забыть ее! Хотя она-то, наверное, уже давно о нем не вспоминала, а если и вспоминала, то мельком, чтобы тут же перейти к чему-нибудь более интересному и важному…

Почти обиженный на гордую и неприступную знакомую Гумилев вошел в подъезд своего дома и вприпрыжку взбежал по крутой лестнице. В его комнате было темно и холодно, но он знал, если зажечь свет и посидеть некоторое время около лампы, ему станет теплее. Тогда и мысли о забывшей его Анне сменятся другими, тоже более теплыми и приятными. Например, воспоминаниями о том, как они познакомились, как катались вместе на катке, как впервые прочитали друг другу стихи собственного сочинения…

Николай повесил шинель на вбитый в стену гвоздь, задернул шторы и зажег закопченную керосиновую лампу. На стене выросла его тень – огромная, чуть дрожащая, похожая на какое-то таинственное экзотическое существо. Молодой человек улыбнулся ей, как старой знакомой, и уселся за стол. Впереди его ждал длинный вечер, полный приятных занятий – можно было почитать что-нибудь из взятых в библиотеке Сорбонны книг, или писать самому, или думать об Анне. И единственной трудностью было выбрать, чему именно посвятить остаток этого дня.

Взгляд Николая скользнул по столу. На одном из его углов возвышалась не очень устойчивая «башня» из учебников, на другом – почти такая же высокая стопка толстых журналов. Ему следовало бы почитать кое-что по теме пропущенной лекции по философии, но первая же мысль об этом сразу привела молодого человека в уныние. Нет, ломать голову над чужими философскими рассуждениями он, пожалуй, будет завтра! Или послезавтра… Или после выходных… А сейчас лучше займется более приятными делами.

Он взял лежащий сверху стопки журнал, положил его перед собой и некоторое время любовался словом «Сириус» на его

обложке, написанным изысканным витиеватым шрифтом. Рядом красовалась такая же красивая цифра «3». Гумилев погладил обложку журнала кончиками пальцев и вздохнул. Ему нравился журнал, нравилось, как он был оформлен, и единственное, что удручало молодого человека, так это то, что следующему номеру, с цифрой «4» на титульной странице, скорее всего не суждено появиться на свет. Раскупали журнал плохо, и денег на его дальнейшее издание собрать не удалось. А писать Блоку или Брюсову письма с просьбами о кредите Николай не решался – навряд ли удастся вернуть долг.

Надо было как-то смириться с тем, что журнал должен прекратить свое существование или по крайней мере что его издание приостановится на неопределенное время. Но мысли об этом не просто неприятны, они серьезно пугали Николая. Закрытие журнала означало еще и прекращение переписки с Анной, стихи которой он публиковал в каждом номере. Если только она сама не захочет поддерживать общение с ним просто так… Скорее всего, не захочет, и больше они никогда не увидятся, никогда не обменяются даже парой слов…

Думать об этом было так мучительно, что Гумилев, не выдержав, вскочил на ноги и принялся мерить шагами свою крошечную комнатку. Отбрасываемая им тень тут же заметалась по стене, словно исполняя на ней какой-то дикий африканский танец. Покосившись на нее, Николай сел обратно за стол, взял из стопки самый первый выпуск журнала, быстро нашел нужную страницу, привычно прищурился и стал медленно, словно смакуя каждое слово, шепотом перечитывать напечатанные на ней строки:

– На руке его много блестящих колец…

О том, что героем этого стихотворения был он сам, не знал никто, кроме него и автора. При этом Анна и не догадывалась, что Николай понял, кому она посвятила эти строки. Гумилев вздохнул еще глубже. Таковы были их отношения с Анной – сплошные догадки и намеки, оставленные без определенного ответа вопросы, слабые надежды и ничего конкретного! Ни разу эта женщина не ответила ему «да» или «нет», не сказала точно, любит она его или не испытывает к нему никаких чувств. Ни разу, за исключением этого стихотворения.

– Но на бледной руке нет кольца моего, – уже не шепотом, а в полный голос прочитал Николай строки, которые так сильно поразили его, когда он увидел их в первый раз. – Никому никогда не отдам я его…

Они и сейчас вызывали у него восхищение, хотя он читал их сотни раз и уже давно знал наизусть. Николай мгновенно понял,

что Анна не случайно прислала ему именно это стихотворение для публикации в журнале. Она могла бы выбрать лучшие из уже написанных ею стихов, но не сделала этого, а написала новое стихотворение, в котором попыталась дать ему понять, что все его надежды добиться от нее ответной любви напрасны. Он никогда не сможет покорить ее сердце, потому что оно уже находится во власти иной любви – любви к поэзии.

Любой другой влюбленный решил бы, что ему надо смириться с неизбежным и отступиться от не желающей ответить ему взаимностью женщины. Любой, но не Николай Гумилев. Он-то точно знал, что любить можно сразу много разных людей и вещей! Он любил и поэзию, и Анну, и Африку, и книги о ней, и Париж, и Петербург, и Царское Село… Проще было сказать, чего он не любил, но разве мешало ему все это мечтать об Анне, желать быть рядом с ней?! Значит, и Анна тоже могла полюбить еще что-нибудь – или кого-нибудь! – кроме поэзии. В том числе и его, Николая.

Гумилев вспомнил, как убеждал себя в этом, прочитав стихотворение Анны про кольца на своей руке в первый раз, и тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. Нечего хандрить, нечего! То, что выпуск «Сириуса» придется приостановить, – это, конечно, очень печально, но неужели он не найдет другого предлога для переписки и встреч с Анной?

«Найду», – уверенно ответил сам себе Николай и сложил все журналы обратно на край стола. Жаль, конечно, что больше он не будет заниматься изданием «Сириуса» – это было так интересно! Но зато теперь он сможет заняться чем-то другим, новым для себя и, может быть, еще более увлекательным. Все равно парижская жизнь и учеба в Сорбонне ему уже начинали потихоньку надоедать. Самое время уехать куда-нибудь, где он не был раньше, и начать какое-нибудь новое дело.

Но сначала он вернется в Россию и еще раз повидается с Анной. Он не будет повторять прежних ошибок, не будет намекать, что ему не очень нравятся некоторые ее стихи, он станет вести себя совсем по-другому! И они все-таки подружатся, а потом Анна обязательно ответит на его любовь!..

Николай так ясно представил себе картину приезда в Евпаторию, куда Анна с матерью, братьями и сестрами переехала после развода родителей, и примирения с любимой девушкой, что даже вскочил из-за стола от избытка нахлынувших на него чувств, подошел к окну, отодвинул штору и стал смотреть на почти скрывшиеся в туманных сумерках крыши домов. Их было много, они выглядывали одна из-за другой, и их неровные ряды уходили вдаль, окончательно теряясь в густой дымке. Эйфелевой

башни, так портившей классический вид Парижа, из окна Николая видно не было. Лежащая перед ним французская столица была точно такой же, как и пятьдесят, и сто лет назад.

Раньше, когда он только поступил в Сорбонну и поселился в этой комнате, Гумилева очень радовало, что из окна открывается исторический вид Парижа. Но теперь он вдруг с удивлением понял, что ему хотелось бы увидеть так раздражавшую его современную башню, возвышающуюся над старинными зданиями.

Разбираться с тем, откуда у него возникло такое желание, Николай не стал. Об этом он мог подумать и позже, а пока надо было это желание выполнить. Тем более что это совсем не трудно – достаточно всего лишь выйти на улицу. Если бы все остальные его мечты сбывались так легко и быстро!

Молодой человек снова накинул отсыревшую от дождя холодную шинель, зябко поежился и выбежал из квартиры. На улице к тому времени уже сильно стемнело, но вечерние сумерки еще не сменились ночным мраком, и силуэты домов были четко видны на фоне грязно-серого неба. Гумилев дошел до конца дома, свернул за угол и запрокинул голову, отыскивая глазами знаменитую башню. Вот и она! Ее острая верхушка торчит над крышами и втыкается в низкое небо. Николай перешел на бег и быстро домчался до поворота на другую улицу, откуда башня была видна еще лучше. Ажурная, словно кружево, – а ведь сделана из тяжеленных стальных деталей! Удивительно!..

Нет, больше творение Гюстава Эйфеля не казалось Николаю громоздким и некрасивым. И оно вовсе не уродовало Париж, конечно же, нет! Башня всем своим видом, всей своей необычностью в буквальном смысле кричала: «Все меняется! Нет в этом мире ничего неизменного, и даже этот старинный город не будет вечно старинным, даже он когда-нибудь примет другой облик! Он уже начал его принимать…»

Эта мысль наполнила такой радостью, что Николай мгновенно забыл о холоде и сырости и даже перестал дрожать. Ну да, ничто в мире не остается вечно одним и тем же. Все живет своей жизнью и меняется. Может быть, когда-нибудь весь Париж будет застроен совсем другими зданиями, еще более высокими, чем эта башня, а сама башня станет самым знаменитым его сооружением! И нет в этом ничего ужасного, наоборот – если перемены возможны, значит, и Анна когда-нибудь может изменить свое к нему отношение! Может наконец ответить любовью на его любовь, отдать ему «кольцо», о котором она написала в своем стихотворении!

Вдохновленный этой надеждой Гумилев шел все дальше и дальше по узким парижским улицам. Они то сходились все

вместе к небольшой площади, то снова расходились во все стороны длинными лучами, постепенно уводя его к центру города, к вызвавшей у него столько эмоций стальной башне. Но он уже не думал о ней, мысли его устремились прочь из Франции, в далекую и еще более холодную и дождливую Россию. Раз в мире все может измениться и меняется каждую минуту, то пора и ему изменить свою жизнь! Слишком много времени он провел в Париже, слишком долго засиделся на одном месте. Пора возвращаться домой, еще раз сделать Анне предложение. Если она даст ему согласие, он напишет Брюсову или Блоку, и они вместе придумают, как им снова начать издавать ее стихи – наверное, можно будет попробовать издать другой литературный журнал, теперь уже в России, раз «Сириус» потерпел фиаско во Франции. Но если Анна вдруг снова ему откажет – ведь она может это, еще как может! – он все равно продолжит выпускать журнал и печатать там ее творения! А потом, выждав некоторое время, опять предложит ей стать его женой. И когда-нибудь она не выдержит, когда-нибудь перестанет быть такой неприступной и наконец скажет ему «да». Надо только набраться терпения и дождаться этого. А еще надо вернуться в Россию, чтобы быть поближе к Анне. Правда, курс его обучения в Сорбонне еще не окончен, и родители будут не очень-то довольны, если он прервет учебу, но тут уж ничего не поделаешь. Доучится потом, успеет еще…

С неба снова полил дождь, еще более сильный, чем раньше. Шинель Николая мгновенно промокла и стала тяжелой, но он продолжал как ни в чем не бывало улыбаться. В тот момент он точно знал, что рано или поздно станет мужем самой красивой и талантливой на свете женщины, и такие мелочи, как насквозь пропитавшаяся ледяной водой одежда, мало его беспокоили.

Глава VI Россия, Евпатория – Царское Село, 1907 г.

Мы не умеем прощаться —
Всё бродим плечо к плечу.
Уже начинает смеркаться,
Ты задумчив, а я молчу.

А. Ахматова

Солнце уже висело довольно низко над морем, но светило все еще ярко, и цвет у его слепящего глаза диска был не красным, а желто-оранжевым. Анна время от времени поднимала на него глаза, и ей сразу же приходилось опускать веки. Но она знала, что так будет продолжаться недолго, уже совсем скоро светило начнет краснеть и одновременно тускнеть, через полчаса оно доползет до линии горизонта, а еще минут через двадцать спрячется за ним, и весь пляж начнет быстро погружаться в темноту. Тогда можно будет сказать идущему рядом Николаю, что уже поздно и ей пора домой. Конечно, можно было сказать и сейчас, но, пока еще светло, молодой человек запросто мог предложить ей погулять «еще всего пару минут», потом «еще минуточку» и оттянуть возвращение не меньше, чем на час. Нет уж, решила Анна, лучше подождать до заката, а потом сказать, что ей страшно бродить так далеко от дома в темноте.

А Гумилев все рассказывал ей то о своих дальнейших планах, касающихся издания нового литературного журнала, то о замысле новых стихов, то о недавно прочитанных им книгах… Анну тяготили эти не прекращающиеся разговоры, но в то же время она понимала, что виновата в них сама. Николай часто делал паузы, давая высказаться ей, но она не отвечала, не зная, как поддержать не интересную ей беседу. Сама она, гуляя у моря, думала совсем о другом – о том, что переезд в Евпаторию и жизнь «в целебном морском воздухе» так и не помогли победить туберкулез и выжить сестре Инне, о том, что ее собственное здоровье в последнее время тоже ослабло, а мать с каждым днем все глубже погружалась в пугающее всех ее детей уныние. Но не говорить же о таких грустных вещах на свидании! Поэтому Анна молчала, а Николай старался заполнить эту молчаливую паузу своей болтовней. Впрочем, ему было нетрудно подыскивать все новые и новые темы для поддержания разговора.

– Спокойное сегодня море, заметила? – не оставлял он

попыток разговорить свою спутницу. – А вчера такой шторм был – на другом конце города шум волн было слышно!

– Да, я помню, – ответила Анна, глядя себе под ноги.

Шторм накануне действительно был сильным, и теперь весь берег вдоль кромки воды оказался усеян ветками, водорослями и прочим мусором. Волны плескались рядом с этой полосой грязи, чуть не дотягиваясь до нее – словно море пыталось очистить свои берега, но у него не хватало на это сил. Эта картина вызывала грустные мысли, и девушка, подняв голову, снова посмотрела на заходящее солнце. Теперь оно нависало немного ниже над горизонтом, но все-таки было еще далеко от него. Потемневшую к вечеру поверхность воды усыпали яркие блики – пока еще золотистые, но уже начавшие потихоньку краснеть. Это зрелище тоже было не слишком веселым, но все же немного подняло Анне настроение: она вновь подумала о том, что до заката осталось совсем немного.

– Очень красиво, да! – по-своему расценил ее взгляд Николай. – Хотя наш закат не сравнить с египетским! Я слышал, что там заходящее солнце – огромное, в несколько раз больше, чем сейчас, и такое яркое, алое… Но удивительнее всего даже не это! Ты знаешь, если над горизонтом есть облака – хотя бы одно небольшое облачко! – то солнце освещает его на закате, и оно становится ярче всего уже после того, как солнце зайдет за горизонт. Представляешь?

– В самом деле? – с полным равнодушием, но все же вежливо бросила Анна.

– Именно так, я об этом читал! А еще ярче бывает небо после заката в тропиках! Об этом рассказывается в записках разных путешественников – они пишут, что там над океаном всегда много облаков, и после захода солнца они вспыхивают настоящим огнем. Посмотреть бы на все это!..

Девушка не отвечала. Она поглядывала на местный закат – быть может, не такой яркий, как в тропиках, но зато свой, родной, привычный… Солнце опустилось еще ниже и коснулось краем горизонта. Его лучи «нарисовали» на воде ровную алую дорожку из бликов.

Николай же по-прежнему мысленно витал в каких-то дальних странах. Заходящее на его глазах солнце интересовало его намного меньше, чем другие, недостижимые закаты.

– Знаешь, на что это похоже? – продолжал он разговор, размахивая от избытка чувств руками. – На угли в костре! Ты никогда не замечала: после того, как огонь погас, угли вспыхивают ярче, чем раньше. Пока костер горит, они оранжевые, а потом становятся красными.

– Возможно, – пожала плечами Анна, – как-то не обращала внимания… Я и у костра-то, кажется, ни разу не сидела…

– А мне приходилось, у нас в деревне, в Слепнево, – улыбнулся Гумилев. – Это удивительно зрелище – огонь! На него можно смотреть бесконечно. Как и на закат или на море… – Он бросил быстрый взгляд на солнечную дорожку на воде и слабо накатывающиеся на берег волны, а затем снова перевел его на свою спутницу: – Или на тебя…

Некоторое время оба молчали. Солнце все глубже погружалось в водную гладь, и все сильнее заставлял волноваться море поднимающийся ветер. Николай не сводил глаз с Анны, смотревшей на алеющую в волнах дорожку.

– Аня, – прошептал Гумилев, наклонившись к лицу девушки. – Я уже говорил тебе об этом, и я помню, что ты мне всегда отвечала, но… я тебя люблю! Пожалуйста, будь моей женой, я не могу без тебя жить! Пожалуйста…

Анна вздохнула. Она так надеялась, что в этот вечер Николай не будет говорить ей о любви и в очередной раз делать предложение, так мечтала, что хотя бы одна их встреча пройдет без его упрашиваний и чувства вины, которое каждый раз охватывало ее после сделанных ему отказов! Но Николай вновь показал ей, как наивно было ожидать от него чего-то иного. «Как видно, надо все-таки соглашаться, – обреченно сказала себе девушка. – Все равно он своего добьется». Вспомнились письма к подругам, в которых она писала о том, что ей кажется, будто Гумилев – ее судьба и ей надо смириться с этой судьбой. Вспомнились их ответы, в которых те советовали не отвергать так преданно влюбленного в нее человека. Все, с кем она обсуждала их с Николаем отношения, считали, что она должна ответить на его чувства. Вот только как ни пыталась девушка убедить себя в том, что они правы, выходить замуж ей не хотелось. Даже за такого страстного и упорного поклонника.

Они шли вдоль кромки воды все быстрее: Анна невольно ускоряла шаг, словно пытаясь убежать от своего спутника, и тот вынужден был тоже идти быстрее, чтобы не отстать от нее. «Надо согласиться, – повторяла про себя Анна. – Надо сказать ему «да». Ну, давай же, говори, это действительно лучший выход!»

Она вертела головой в тщетной надежде увидеть что-нибудь интересное, что дало бы ей повод перевести разговор на какую-нибудь другую тему, но вокруг не было ничего особенного. Справа – только море с заходящим солнцем, слева – только песчаный пляж, переходящий в заросший высокой травой луг…

– Смотри, что это там, черное такое? – как утопающий за соломинку ухватилась девушка за виднеющееся на кромке воды

темное пятно. Очертаниями оно немного напоминало большой вытянутый валун, отглаженный волнами. Но Аня гуляла в этих местах много раз и точно знала, что там не могло быть таких огромных камней. Даже случившийся накануне шторм был не настолько сильным, чтобы выбросить на берег камень размером с человека!

Девушка внезапно подумала, что это и есть человек – может быть, мертвый, утонувший в море, а может, еще живой, сумевший выбраться на берег и теперь лежащий возле воды без сил. Забыв про идущего рядом Николая, она побежала к пятну, перепрыгивая через попадавшиеся ей на пути кучи мусора.

– Постой, ты куда? – крикнул Гумилев, бросаясь вдогонку за девушкой.

Анна не оборачивалась. Ее взгляд был прикован к странному «валуну», и чем ближе она подбегала к нему, тем яснее понимала, что это точно не камень. Темно-серая продолговатая тень словно бы раздвоилась и стала похожей на пару одинаковых валунов, лежащих рядом, а потом, постепенно на двух огромных, выброшенных на берег рыб. А еще через пару секунд Анна поняла, что почти не ошиблась. У воды действительно лежали два мертвых морских обитателя. Она замерла в нескольких шагах от них, с ужасом глядя на их полураскрытые пасти и уставившиеся в никуда пустые круглые глаза…

– Дельфины… – с грустью вздохнул догнавший Анну и остановившийся рядом с ней Николай. – Во время шторма погибли, наверное, об какие-нибудь подводные скалы разбились… Жалко…

– Дельфины… – эхом повторила за ним девушка, продолжая смотреть в мертвые глаза когда-то полных силы, изящных и гибких морских животных. Еще вчера они резвились в море, ныряли, высоко выпрыгивали из воды, и их мокрые спины ярко блестели на солнце. И вот в одночасье для них все кончилось. Буйство родной стихии оборвало их жизнь, волны ударили их о лежащие на дне камни, а потом вышвырнули прочь из воды за ненужностью. Впрочем, скорее всего, все было не так. Если бы дельфины случайно оказались у берега в шторм и ударились бы о дно, они вряд ли оказались бы на берегу вместе. Их наверняка раскидало бы волнами в разные стороны и вынесло на прибрежный песок в разных местах…

– Все было иначе, – сказала Анна, не глядя на Гумилева. – Их не случайно убило. Они выбросились на берег вместе, вдвоем.

– Ты так думаешь? – удивился Николай.

– Да, – теперь девушка уже не сомневалась в своей догадке. – У них в жизни что-то было не так. Может, их никто не любил и не

понимал, а может, они сами испортили жизнь друг другу, сделали друг друга несчастными… – Ее голос внезапно задрожал, и из глаз выкатились слезы. – Им было очень плохо, поэтому они приплыли к самому берегу и выбросились из воды! – Последнюю фразу девушка почти прокричала.

Николай подошел к ней вплотную и попытался взять ее за руку, но Анна отшатнулась, оторвав наконец взгляд от дельфинов, посмотрела ему в глаза и, утирая слезы, еле слышно произнесла:

– У нас все так же будет, понимаешь? У нас будет все то же самое. Мы не сможем быть счастливыми и закончим так же, как и они.

– Аня… – попытался было возразить Гумилев, но его спутница отступила еще на шаг и решительно встряхнула головой.

– Коля, я никогда не буду твоей женой. Пожалуйста, больше не проси меня об этом. И… все.

С этими словами Анна развернулась и быстро зашагала в сторону дороги, по которой они вышли к морю. Николай, сжав кулаки и с ненавистью посмотрев на погибших дельфинов, пошел следом за ней, стараясь держать дистанцию в несколько шагов. Догонять Анну и говорить с ней еще о чем-нибудь он теперь не хотел, но ее необходимо было проводить до дома. Время было позднее, и солнце уже почти скрылось за горизонтом.

Так они и шли всю дорогу в полном молчании. Анна не оборачивались, но Николай знал, что она слышит его шаги и чувствует себя в безопасности, поэтому старался не отставать. А потом, когда девушка скрылась за дверью своего дома, он резко развернулся и почти бегом бросился обратно на пляж. Ему хотелось еще раз посмотреть на дельфинов и попытаться понять, действительно ли они выпрыгнули на берег сами. Однако к тому времени на улице уже стало совсем темно, и Гумилеву не удалось найти виновников своей неудачи. Пнув ногой оказавшийся у него на пути камешек, он снова вернулся в город, а придя домой, принялся собирать в саквояж свои немногочисленные вещи…

Через несколько дней он был в Киеве, через пару недель – в Москве, потом – в Париже. Дел, которые Николаю нужно было уладить, оказалось на удивление много. К счастью, разобраться с ними ему удалось достаточно быстро, и уже в октябре он, впервые за многие годы, переступил порог своего родного дома в Царском Селе. Комната, в которой он жил в детстве, встретила его выцветшей от времени и слегка облупившейся росписью на стенах. Гумилев успел подзабыть собственные рисунки и оттого с еще большей радостью смотрел на разноцветных рыб,

поднимающуюся к потолку волнистую морскую траву и затаившегося в углу спрута. Он словно бы вернулся в те давние годы, когда превращал свою комнату в подводное царство, и на краткий миг ему показалось, что потускневшие морские жители стали яркими и блестящими, а в воздухе поплыл резкий запах свежей масляной краски.

Но это ощущение длилось не больше секунды. Николай снова вернулся к реальности, в которой его комната была пыльной, краски на стенах – поблекшими, а юношеские мечты – навсегда потерявшими шанс сбыться. У молодого человека мелькнула мысль привести комнату в порядок и обновить роспись на стенах, но он тут же решительно отогнал ее. Несмотря на свой юный возраст, он был достаточно опытен, чтобы понимать: вернуть прошлое невозможно, как ни старайся. Да и не нужно ему было ничего возвращать – впереди его ждала новая жизнь, быть может, не такая беспечная, как прежде, но точно не менее интересная! С мечтами о новой жизни Гумилев и заснул среди своих блеклых морских декораций.

Но на следующий день пришлось распрощаться и с этой мечтой. Двое врачей армейской медкомиссии, не слушая горячих заверений Николая, что он может служить, желает выполнить свой долг перед родиной и имеет на это полное право, упрямо стояли на своем: с таким зрением, как у него, в армии делать нечего. Молодой человек испробовал все – от громкой возмущенной ругани до униженных просьб, но медики отказались признать его достаточно здоровым для службы и в конце концов выставили вон. Гумилев вышел на улицу, с грохотом захлопнул за собой дверь больницы, где проходил осмотр будущих солдат, а потом, отойдя от нее на несколько шагов, обернулся, погрозил оставшимся внутри врачам кулаком:

– Вы еще пожалеете! – и, гордо задрав голову, зашагал прочь.

Поравнявшись со следующим домом, он вдруг остановился. Дальше идти ему было некуда. Не в прямом смысле – можно, конечно, пойти домой, уехать в Поповку или Слепнево, где жили его родные, или снова отправиться в Париж, чтобы окончить учебу в Сорбонне. Но вот что делать дальше, какой цели добиваться – он теперь не знал.

Молодой человек подошел к стене дома, чтобы не стоять на пути у других прохожих, привалился к ней и уставился в одну точку, ни о чем не думая. Длилось это состояние не слишком долго, потому что, когда Николай стряхнул с себя странное оцепенение, вокруг почти ничего не изменилось. Солнечный свет, заливавший улицу, был все таким же по-утреннему мягким, большинство прохожих все так же спешили по улице в сторону

рынка… Гумилев стал оглядываться, надеясь увидеть на каком-нибудь доме часы, и внезапно заметил, что со стороны больницы к нему приближается какой-то мужчина. На вид он был ничем не примечательным, среднего роста и среднего же возраста, с самым обыкновенным, плохо запоминающимся лицом. Николай не сомневался, что видит его впервые, тем не менее незнакомец шел именно к нему: когда расстояние между ними сократилось до нескольких шагов, он вскинул голову и, вежливо улыбаясь, посмотрел Гумилеву в глаза:

– Николай… Степанович?

– Да, – удивленно ответил Гумилев.

– Вы сегодня были на медицинском освидетельствовании, и вам очень хотелось пойти служить.

– Да, – не стал отрицать очевидное Николай, – хотелось.

Незнакомец смотрел ему в глаза, но в его взгляде не было ни сочувствия, ни вообще каких-либо эмоций.

– Вы можете принести России пользу, занимаясь другим делом, – так же невозмутимо продолжил его странный собеседник.

– Каким же? – вскинул голову Николай.

– Более сложным, чем маршировать строем и выполнять чужие приказы. – Несмотря на то что ответ прозвучал совсем тихо, Гумилев вздрогнул, невольно огляделся по сторонам и быстро спросил:

– Я могу… узнать более подробно, что мне нужно будет делать?

– Разумеется, – согласно кивнул незнакомец. – Давайте вернемся в больницу.

Николай с готовностью выпрямился и отошел от стены дома. Незнакомец развернулся в сторону больницы и зашагал к ней, жестом пригласив несостоявшегося военного идти следом. Гумилев поспешил за ним и по дороге внезапно понял, что один раз все-таки уже где-то видел это обычное, плохо запоминающееся лицо. Вот только где именно и когда это было?

Глава VII Египет, Порт-Саид, 1907 г.

Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.

Н. Гумилев

В трюме было темно и очень сыро. Болтовня спутников Николая, в первые дни плавания бодрая и веселая, окончательно сошла на нет, и теперь тишина вокруг него лишь изредка нарушалась усталыми вздохами и болезненными стонами. Качка, не слишком сильная, но невероятно монотонная, отняла у всех последние силы. И даже теперь, когда на море, судя по всему, установился почти полный штиль, охватившая пассажиров слабость не проходила, и разговаривать они были не в состоянии. Каждому хотелось просто сидеть или лежать неподвижно, молчать и ни о чем не думать.

Николай сидел, забившись в один из дальних углов, и, обхватив колени руками, мелко дрожал. Авантюра, в которую он втянулся, совсем еще недавно казавшаяся молодому человеку так прекрасно придуманной, за время плавания растеряла всю свою заманчивость. Оказалось, что бегство в Египет тайком от всех и путешествие в трюме грузового корабля без билета – занятие не только рискованное, но еще и крайне неприятное. Хотя, если бы Николаю сейчас представилась возможность начать все сначала и снова попробовать пробраться на уходящее в Африку судно, он все равно повторил бы эту попытку. Ведь иначе ему пришлось бы или остаться во Франции и долгими зимними вечерами умирать от скуки в своей крошечной комнате под самой крышей, или вернуться в Россию, где жила не ответившая на его чувства Анна… Нет уж, лучше трюм, в который не проникал ни один луч света, лучше бесконечно долгие дни и недели страха, что его обнаружат матросы, лучше качка и сырость! Тем более что это «заключение» в трюме должно скоро кончиться. Наверняка уже совсем скоро!

Оказавшись на корабле, молодой путешественник почти сразу утратил чувство времени, а часы в темноте были бесполезны, поэтому он давно потерял счет дням. Однако вчера – или, может быть, не вчера, но точно несколько часов назад, до того, как Николай на некоторое время заснул, – один из его соседей по трюму говорил, что, по его расчетам, они уже

приблизились к северным берегам Египта. Можно ли было доверять мнению такого же, как и сам Гумилев, «пленника», запертого в трюме и лишенного какой-либо связи с внешним миром, Николай не знал. Но верить этому человеку очень хотелось – его слова давали хоть какую-то надежду, что мучениям скоро придет конец. Он выберется на свежий воздух, ступит на твердую, не качающуюся каждую секунду под ногами землю, забудет о плавании, как о страшном сне, и все-таки выполнит порученное ему дело. А заодно исполнит и свою давнюю мечту – увидит Африку. Увидит тот далекий, чужой, не похожий ни на его родную страну, ни на Европу мир, который полюбил еще в детские годы, о котором сочинил свое самое первое стихотворение!

Воспоминание о детских грезах и предвкушение путешествия по Египту заметно подняли Николаю настроение. Он почувствовал себя несколько лучше, и ему даже показалось, что в трюме стало не так душно и холодно. Да и качки больше не было… Может быть, они вообще уже вошли в порт и стоят у причала, может, их путь окончен, хотя сами они об этом еще не знают?

Гумилев так твердо уверился в этом, что потянувшиеся дальше долгие часы ожидания в темноте вновь едва не привели его в отчаяние. Он стал думать о том, что корабль по каким-то причинам не пускают в египетский порт, или что вообще произошла ошибка и они приплыли не туда, куда следует, или что капитан узнал о «зайцах» в трюме и отвез их назад, в Марсель. Последнее предположение было самым пугающим, и молодой человек постарался отогнать его от себя как можно скорее. Нет уж, пусть уж лучше верна другая его догадка, о том, что корабль прибило к какому-нибудь дикому берегу!

Он прислушался, попытавшись уловить хоть какой-нибудь звук. Но в трюме было так тихо, что у Николая даже зазвенело в ушах. Однако он по крайней мере убедился, что корабль не движется. Они куда-то приплыли, и прятавшимся в трюме пассажирам нужно было только набраться еще немного терпения, чтобы узнать, куда именно.

Николай устроился поудобнее в своем углу, закрыл глаза и стал мысленно уговаривать себя подождать еще час или два. За бортом его ждала Африка, страна, в которую он так мечтал попасть. Скоро он выйдет из трюма на свободу, скоро окажется в своей мечте! А пока надо просто набраться терпения. Просто подождать…

В голове у Николая вдруг завертелись любимые образы – африканская саванна, джунгли, пустыня… Молодой

путешественник опять заерзал на месте. За все время плавания в трюме его не посещали мысли о стихах: настроение для этого было совсем не подходящим, не говоря уже о мучившей его в первые дни морской болезни. Неужели теперь это прошло и он снова готов творить? Это надо было срочно проверить, и Гумилев принялся складывать из роящихся у него в мыслях слов первую строчку. А за первой к нему, уже совсем легко и быстро, пришли вторая и третья строки, и вскоре он жалел лишь о том, что у него не было ни бумаги, ни карандаша, чтобы записать их. Оставалось рассчитывать только на собственную память.

Повторив про себя несколько раз новое стихотворение и уверившись, что теперь он его не забудет, Николай удовлетворенно вздохнул и закрыл глаза. Рядом с ним послышались шорохи: кто-то из соседей по трюму тоже возился на своем месте. Но Гумилев не обратил на это внимания – его вдруг начало клонить в сон, и теперь уже хотелось, чтобы корабль подольше не причаливал к берегу…

На этот раз желание путешественника сбылось. Корабль все не двигался, а матросы, знавшие о ехавших в трюме странниках, как будто забыли о них. Но Гумилеву было все равно, он спал и во сне уже пробирался по африканским джунглям.

Разбудил его громкий разговор соседей по трюму и легкое раскачивание судна. Это была не обычная качка, к которой он почти привык во время плавания, а какие-то странные толчки, и Николай с радостью подумал, что они могут означать долгожданный конец путешествия. Корабль вздрагивал, потому что причаливал в порту, его привязывали канатами к каменным тумбам!

– Да точно тебе говорю, приплыли мы! – подтвердил догадку Гумилева один из странников – ворчливый мужчина лет пятидесяти, ужасно не любивший, когда более молодые товарищи спрашивали, когда же их путешествие подойдет к концу. – Погоди еще чуток, пусть они уладят все формальности! Мы вылезем, когда груз начнут выносить на берег.

– Ох, скорее бы! – застонали чуть в стороне от Николая сразу несколько страдальческих голосов.

Он и сам был бы не прочь присоединиться к ним: его терпение тоже постепенно подходило к концу. Вдобавок ко всему он еще и сильно проголодался: матрос, приносивший им тайком еду, не появлялся в трюме почти сутки. Но его терпению было уготовано еще одно, последнее испытание. Незаконных пассажиров продержали в трюме еще около часа. Под конец этого часа спутники Николая, несмотря на привычку к подобным путешествиям, начали волноваться, и некоторые из них стали

предлагать остальным покричать, чтобы их выпустили из трюма. Гумилев, быстро сообразив, что в этом случае они запросто могут выйти не на свободу, а в такие же крепко запертые каюты другого корабля, который доставит их обратно в Россию, начал убеждать товарищей по несчастью не делать этого, но долго спорить путешественникам не пришлось. Замок, запирающий трюм, наконец заскрежетал, и в окружавшую их темноту проник слабый луч света, в первый момент показавшийся таким ярким, что все невольно зажмурились.

– Выходите побыстрее, моя вахта закончится через полчаса! – услышали они голос знакомого матроса и радостно ахнули.

Николай проворно вскочил на ноги и потянулся. В проникшем в трюм неярком свете стали видны уложенные аккуратными рядами ящики с грузом и фигуры других пассажиров, которые тоже встали и принялись разминать затекшие суставы. Те, кто сидел ближе к выходу, поспешили наружу, и Гумилев торопливо последовал за ними.

Поднявшись на палубу, он так глубоко вдохнул горячий, но все равно свежий морской воздух, что даже почувствовал боль в груди и закашлялся. Но это ничуть не уменьшило его радость, что первая, самая тяжелая часть его путешествия окончилась. Начиналась следующая, гораздо более приятная и интересная.

– Быстрее, быстрее, выметайтесь отсюда! – поторапливал незаконных пассажиров матрос. Спутники Гумилева не заставили себя упрашивать и двинулись следом за матросом к спущенному на берег трапу. Николай, шагая позади всех, с грустью думал о том, что так толком и не познакомился с ними за время плавания, а теперь они расстанутся навсегда и больше никогда не встретятся. «Жаль… – вздохнул он про себя. – Надо будет написать о них стихотворение – тогда я их как следует запомню!»

Но пока ему было не до стихов. Помогавший им матрос, поминутно шикая на незаконных пассажиров и требуя, чтобы они не шумели, довел их до трапа и велел как можно скорее уходить из порта. Странники по одному спустились на причал и затем, так же цепочкой, двинулись прочь от моря. Николай шел за ними, то и дело спотыкаясь о невидимый в темноте мусор. Только выйдя из порта и оказавшись на широкой пыльной дороге, он позволил себе облегченно вздохнуть и оглядеться по сторонам. Небо на востоке уже начинало слегка светлеть, до восхода солнца оставалось не так уж много времени. Но все же пока еще и порт, и окружавшие его поселения были погружены в сон, и тайком прибывшим в Египет путешественникам нужно было где-то провести еще пару часов.

Спутники Гумилева уселись прямо на землю у обочины

дороги и принялись шарить по карманам в поисках оставшихся там сухарей.

– Давай к нам, парижанин! – позвал один из них Николая, но тот в ответ покачал головой:

– Спасибо, я не голоден. Лучше пройдусь пока… Счастливо вам!

– И тебе удачи! – отозвались пилигримы, после чего почти сразу же забыли о его существовании.

Гумилев еще немного постоял на обочине, а потом медленно зашагал по краю дороги в ту сторону, где в слабом утреннем свете виднелись какие-то постройки. Он рассчитывал дойти туда примерно за час. К тому времени солнце должно было подняться уже достаточно высоко, а местные жители, как представлялось Николаю, наверняка вставали рано, с рассветом. У них найдется и вода, и что-нибудь поесть, а его денег хватит на то, чтобы отблагодарить их и нанять верблюда для поездки в Каир. Ну а что делать дальше, ему скажут те, кто сейчас ждет в египетской столице встречи с ним…

Молодой человек шел вдоль дороги, смотрел по сторонам и никак не мог полностью поверить в то, что находится в Африке. На том самом континенте, о котором столько читал в детстве, на котором мечтал побывать с самых юных лет. Оказывается, мечты все-таки сбываются! Хотя бы некоторые из них… Но раз сбылась эта мечта, может быть, когда-нибудь воплотятся в жизнь и остальные? В том числе и его мечта об Анне?

Воспоминание об Анне Горенко и ее отказе снова неприятно кольнуло Николая, но он решительно отогнал его, постаравшись сосредоточиться на более важных в данный момент вещах. Небо над его головой стремительно светлело, и хотя воздух пока был довольно прохладным, молодой путешественник знал: уже совсем скоро день вступит в свои права, и холод сменится настоящей африканской жарой. Он сделал небольшой глоток из прикрепленной к поясу фляжки и прибавил шагу. Но идти быстро и ни на что не отвлекаясь по дороге было выше его сил. На обочине из песка выглядывали короткие жесткие стебли какого-то растения – Николай присел рядом, стал внимательно рассматривать его и ощупывать каждый стебель и листочек руками. Затем, после того, как он прошел немного дальше, через дорогу перед ним перебежала стремительная крошечная ящерица, и он кинулся за ней, надеясь, что ему удастся хоть немного ее рассмотреть. Ящерица, правда, оказалась слишком быстрой и верткой – пробежав несколько шагов, она как будто растворилась в полумраке, то ли спряталась под один из валяющихся то тут, то там камней, то ли закопалась в песок. Николаю удалось увидеть

лишь ее серую, почти сливающуюся с дорогой гибкую спинку и длинный извивающийся хвост.

Упустив первую ящерицу, Гумилев стал внимательно смотреть под ноги в надежде увидеть еще какую-нибудь пустынную живность. С некоторым опозданием он вспомнил о том, что в Египте водятся еще и змеи, в том числе и смертельно ядовитые. Их он тоже начал высматривать на дороге, не зная, чего ему хочется больше: увидеть змею или избежать встречи с нею…

Ящерицы ему больше не попались, змеи тоже. Зато, когда спустя некоторое время молодой путешественник оторвался от разглядывания песка у себя под ногами и поднял голову, перед ним открылась никогда не виданная им красота – пустыня, озаренная светом только что взошедшего над горизонтом солнца.

Николай много читал об этих местах и ожидал увидеть бесконечно широкое, уходящее за горизонт песчаное пространство. Но он представлял себе это пространство как обычный песчаный пляж, из тех, по которым он столько гулял в Крыму с Анной. Молодому человеку и в голову не могло прийти, что на самом деле пустыня окажется совсем иной, и прежде всего – невероятно красивой.

Вокруг него был, как он и предполагал, песок, но совсем не такой, как на пляжах. Местами он был обычного желтоватого оттенка – но далеко не везде. Желтые участки чередовались с розоватыми и медно-красными, бурыми и грязно-белыми, рыжими и золотисто-коричневыми пятнами, которые то плавно переходили одно в другое, то четко отделялись друг от друга, словно кто-то сложил вместе разноцветные куски ткани. А еще пустыня была вовсе не ровной. Разноцветный песок вспухал высокими холмами, отбрасывавшими длинные густые тени. Среди этих холмов то тут, то там валялись камни – от небольших булыжников величиной с кулак до огромных валунов высотой почти в человеческий рост. А чуть дальше виднелись скалы с острыми вершинами, от которых по песку тоже тянулись черные тени… Вся эта игра тени и света, а также разных оттенков песка и камней придавала пейзажу не просто необычный, а по-настоящему фантастический вид, словно Николай попал не на другой континент, а в какой-то иной мир. И этот мир был божественно красив. Красив необычной, мертвой красотой, от которой просто невозможно оторвать взгляд.

К счастью, необычность египетской земли заключалась не только в ее красоте, но, как позже шутил Николай, и в несколько более теплом климате. За те полчаса, что он неторопливо шагал по песку, глазея по сторонам, солнце успело подняться высоко над горизонтом и заметно нагреть воздух. Одинокий

путешественник вдруг почувствовал, что ему стало тяжело дышать, а заливающий пустыню солнечный свет сделался слишком ярким и резал его привыкшие за время плавания в трюме к темноте глаза. Прищурившись, он посмотрел вперед и обнаружил, что группа построек, к которой он шел, почти не приблизилась. Пришлось, несмотря на всевозрастающую жару, прибавить шагу и больше не отвлекаться ни на красоту окружающего пейзажа, ни на пробегающую по песку живность.

Часа через полтора он, уже задыхающийся от жары и выпивший всю воду из фляжки, подходил к невысоким глиняным постройкам с соломенными крышами. Еще через час яростной торговли с жившими там бедуинами, объясняться с которыми приходилось в основном жестами, ему удалось напиться воды, нанять верблюдов с проводником, чтобы доехать до египетской столицы и при этом сохранить в своем кошельке достаточное количество денег. Местные жители, успевшие за это время проникнуться к умеющему торговаться в лучших восточных традициях чужаку глубоким уважением, предлагали ему отдохнуть, но Николай вежливо отказался. Ему нужно было спешить, в столице его ждали.

Глава VIII Франция, Турвилль, 1907 г.

Так долго сердце боролось,
Слипались усталые веки,
Я думал, пропал мой голос,
Мой звонкий голос навеки.

Н. Гумилев

Море волновалось весь день, а ближе к вечеру волны стали особенно высокими. Их тревожный шум доносился до Николая, даже когда он отходил далеко от пляжа, на одну из ведущих к нему тенистых улиц. Можно было, конечно, пройти еще дальше, мимо нескольких кварталов аккуратных светлых домиков, затеряться в лабиринте узких переулков – тогда шум моря точно растворился бы в тишине маленького городка. Но Гумилеву не хотелось этого делать. Он боялся, что, уйдя далеко от моря, не найдет в себе сил, чтобы потом вернуться и выполнить то, что задумал. И поэтому весь день, раз за разом, доходил до конца улицы, разворачивался и снова возвращался на пляж.

А пляж в течение дня оставался неизменным. И утром, когда солнце только-только осветило море своими робкими, чуть теплыми лучами, а вода была совсем холодной, и днем, когда в городке стало не по-осеннему жарко, на песке лежало и сидело множество людей. Купаться, правда, решались немногие – для местных жителей вода в сентябре была уже слишком холодна, а приезжие не хотели нарушать общепринятый порядок и нырять в море в неположенное время. Но, даже несмотря на это, пляж все равно был переполнен. Со всех сторон слышалась то французская, то английская, то русская речь, а порой до Гумилева долетали и слова на каком-то неизвестном ему языке. А еще отовсюду доносился веселый смех, на всех языках звучавший одинаково задорно и оптимистично.

Это особенно злило молодого человека, хотя он и понимал, что отдыхающие на берегу моря люди вовсе не обязаны прекратить веселиться из-за того, что сам он не в состоянии даже улыбнуться. Просто видеть этих счастливых и довольных жизнью отдыхающих было невыносимо. Его-то жизнь – теперь он окончательно в этом убедился! – была напрасной, она закончилась после того, как Анна снова ответила отказом на его предложение! В который уже раз он проиграл? Гумилев давно

сбился со счета, но одно знал точно: это предложение, сделанное Анне в первый же день, когда он вернулся в Россию из Африки и встретил ее, будет последним. И не только потому, что больше он никогда не станет перед ней унижаться. Он вообще не будет жить дальше, ведь в такой жизни, какую он вел в последние годы, нет ни малейшего смысла. Он убьет себя – как только эти глупые отдыхающие разойдутся с пляжа и дадут ему выполнить задуманное.

Однако «глупые отдыхающие» не спешили покидать пляж и продолжали валяться на песке и гулять в полосе прибоя, не подозревая о том, что срывают планы отчаявшегося молодого поэта. Николай еще раз прошелся по соседствующему с пляжем кварталу, опять вернулся к морю и раздосадованно заскрипел зубами. Солнце уже почти село, его край касался воды, а народу на пляже словно бы стало еще больше! «Закатом любоваться явились! – вздохнул про себя Гумилев. – Чтоб им всем провалиться, не могли завтра прийти – ведь закат будет точно таким же!» Он прекрасно знал, что и закат, и восход каждый день бывает разным, знал это лучше всех собравшихся у моря людей, но в тот момент совершенно не думал об этом. Ему просто хотелось, чтобы все эти любители закатов куда-нибудь исчезли.

Надеясь, что после того, как солнце сядет, отдыхающие наконец уйдут с пляжа, он решил дождаться этого момента около воды и решительно зашагал по песку. Идти было тяжело, песок тут же засыпался к нему в ботинки, и молодой человек, ругаясь про себя последними словами, повернул назад. Следующей его мыслью было присесть на скамейку неподалеку от пляжа и подождать наступления темноты там. Николай огляделся вокруг и с досадой сжал кулаки. На аллее, ведущей к пляжу, было много красивых деревянных скамеек, но все они были заняты! Словно в насмешку над несчастным Николаем, на них сидели в обнимку влюбленные парочки, склонившие друг к другу головы и о чем-то воркующие с томными улыбками на лицах. Стараясь не смотреть на них, он пошел по аллее в надежде все-таки найти пустую скамейку, но и этому его желанию не суждено было сбыться. На очередной скамье сидела пожилая пара, совершенно седые мужчина и женщина, которым можно было дать и семьдесят, и даже больше лет, – и они тоже держались за руки и улыбались друг другу.

Такого зрелища Гумилев вынести уже не мог. Резко развернувшись, он почти бегом бросился обратно на пляж. Пусть все эти влюбленные глупцы сидят на лавочках и обнимаются, он не будет смотреть на их счастье, сядет около воды и не двинется с места, пока с пляжа не уйдет последний любитель моря!

Он решительно прошагал по песку до самой кромки воды. Отдыхающие недовольно морщились от летящей на них пыли и бросали ему вслед сердитые взгляды. Однако Николай их не замечал, он поглядывал по сторонам с другой целью – чтобы проверить, собираются ли уходить с моря хотя бы некоторые из расположившихся у воды людей. Кое-кто, к его облегчению, в тот момент действительно поднялся и направился прочь от моря. Да и солнце к тому времени уже почти совсем скрылось за горизонтом, и у Гумилева появилась надежда, что скоро он наконец останется на пляже один.

Молодой человек плюхнулся прямо на песок и стал ждать. Край алого солнечного диска исчез в море, последний его луч погас, отражавшиеся в воде красные блики растворились в волнах. Николай удовлетворенно усмехнулся: все, смотреть больше не на что! Уж теперь-то все эти глупые романтики разойдутся по домам!

Его ожидания наконец сбылись. Несколько сидевших неподалеку женщин принялись собирать вещи, складывать в корзины остатки еды и убирать под шляпы выбившиеся из-под них волосы. Потом подозвали пересыпавших чуть в стороне песок детей и все вместе двинулись к выходу с пляжа.

Гумилев проводил их недовольным взглядом и еще раз огляделся вокруг. Многие отдыхающие ушли, но немало было и тех, кто остался на своих местах. Похоже, они собирались дождаться, когда стемнеет, чтобы полюбоваться луной и звездами. Кроме того, к воде неожиданно приблизилась новая, только что пришедшая на пляж пара. Николай нахмурился еще сильнее. Этот пляж вообще хоть когда-нибудь бывает безлюдным? Неужели ему придется сидеть здесь всю ночь?!

Он отвернулся от все сильнее раздражавших его людей и стал смотреть на горизонт, на то место, где только что утонуло в воде солнце. Небо там все еще светилось светло-розовым светом, в то время как выше оно уже окрасилось в темно-синие тона, и это свечение с каждой минутой становилось все более тусклым. Солнце уходило все дальше за горизонт, и Николай вдруг особенно ясно осознал, что только что видел его в последний раз в своей жизни. И звезды, которые вот-вот зажгутся в стремительно темнеющем небе, он сейчас тоже увидит в последний раз…

Одна из сидевших на пляже компаний, любовавшаяся закатом и теперь решившая наконец разойтись по домам, прошествовала мимо Гумилева, одарив его подозрительными взглядами. Но ему не было до этого никакого дела. Он лишь ждал, чтобы они, а вслед за ними и все остальные, поскорее ушли.

Волны все дальше накатывались на берег, подбираясь к его

ногам. Начинался прилив, скоро должна была взойти луна. И с ней Николай сегодня тоже попрощается навсегда… Вздохнув, молодой человек опять оглянулся на сидящих неподалеку на песке людей и посмотрел на них уже не таким раздраженным и нетерпеливым взглядом. Ведь и их он тоже больше никогда не увидит!

Уходящая с пляжа важная пожилая дама, которую сопровождала молоденькая девушка-компаньонка, покосились на Николая с еще более сильным подозрением. Он попытался сделать вид, что не обижен, и улыбнуться им, но обе женщины, брезгливо поморщившись, отвернулись от него и стали смотреть в другую сторону. Гумилев пожал плечами и снова стал смотреть на море. Светлая полоса над горизонтом все быстрее темнела, принимая тот же глубоко-синий оттенок, что и остальное небо. Звезд над головой Николая становилось все больше…

Он просидел у воды еще около получаса. Вокруг совсем стемнело, и пляж наконец почти полностью опустел. Только несколько фигур бродили по берегу вдоль кромки воды, кто – парочками, кто – в одиночестве. Но все они были достаточно далеко от Николая, вряд ли кто-нибудь из них станет специально смотреть в его сторону и заметит что-то необычное. Время пришло. Пора делать то, ради чего он пришел на этот пляж, ради чего вообще приехал в Нормандию.

Молодой человек медленно встал и сделал шаг к воде. Под ногами хлюпнул мокрый песок. Море придвинулось совсем близко к Николаю, словно собираясь забрать его к себе, даже если сам он вдруг передумает. Но он и без того был полон решимости и сделал еще один шаг вперед. В ботинки залилась вода, в первый момент показавшаяся Гумилеву ледяной. Он вздрогнул и сделал следующий шаг навстречу невысоким, пенистым, быстро мчащимся к берегу волнам. Вспомнилось, как они с братом купались в Крыму – это было так давно, в таком далеком детстве… Там, в Черном море, несмотря на летнюю жару, вода в первые минуты купания тоже казалась холодной, и нужно было быстрее окунуться в нее с головой, чтобы стало теплее. «Вот и сейчас так же надо… Окунуться и поплыть. Прочь от берега, не оборачиваясь, – и так плыть, пока хватит сил», – повторил про себя уже много раз продуманный план Николай и прошел еще немного вперед. Вода дошла ему до колен, и он еще сильнее затрясся от холода. Позади него раздался чей-то рассерженный голос, но слов молодой человек не разобрал и решил не оборачиваться. Вряд ли это обращались к нему…

Он сделал еще один, последний шаг вперед и погрузился в воду по плечи. Намокший старый костюм мгновенно стал

невероятно тяжелым и мешающим движениям. Николай машинально взмахнул руками, стараясь удержаться на поверхности воды, и понял, что долго плыть вперед ему не удастся – он устанет очень быстро и утонет у самого берега.

– А ну, вылезай, бродяга! – разнесся над вечерним морем резкий окрик, и Гумилев едва не захлебнулся от неожиданности. – Назад, кому сказано!

Плохо осознавая, что делает, молодой человек развернулся к берегу. Его ноги снова нащупали дно, и он встал, выпрямившись во весь рост. С мокрой челки по его лицу стекали струйки воды, и Николай не сразу смог открыть глаза, чтобы посмотреть, кто так не вовремя решил ему помешать. Между тем, с берега продолжали кричать, требуя, чтобы он немедленно вышел из воды. К первому гневному голосу присоединился еще один, нервный и слегка визгливый.

– Неужели придется за ним лезть?! – возмущался этот второй голос. – Иди сюда, чтоб тебе провалиться, я из-за тебя нырять не буду!!

Николай смахнул с лица воду, протер глаза и наконец открыл их. В первый момент он с изумлением обнаружил, что вокруг стало намного темнее – небо приобрело густой чернильный оттенок, а потом увидел две высокие фигуры, стоявшие возле самой кромки воды и яростно размахивающие руками.

– Вылезай на берег, черт тебя побери!! – крикнула одна из них. Вторая тут же добавила к своей речи несколько ругательств не только на французском языке, но, к удивлению Гумилева, на парижском арго. Как будто бы этот человек следовал за ним от самой столицы! Хотя скорее всего он просто был родом из Парижа…

Обдумать это предположение Николай не успел. Незнакомцы снова заорали на него, требуя, чтобы он вышел из воды, и молодой человек неожиданно понял, что и сам хочет подчиниться их приказу. Может быть, он и ждал так долго на берегу, чтобы его заметила полиция, чтобы кто-нибудь помешал ему свести счеты с жизнью?

Как бы там ни было, топиться на глазах двух стражей порядка и нескольких привлеченных их криками зевак невозможно – полицейские, несмотря на свое нежелание лезть в воду, все равно бросились бы за ним и вытащили бы его на берег. Они, судя по всему, уже потеряли надежду остаться сухими и готовы были идти к нему. А Николаю совсем не хотелось доставлять другим людям хоть какие-то неудобства и неприятности. Шумно вздохнув, он сделал первый шаг к берегу. Потом еще один. Идти по пояс в воде было тяжело, двигался он медленно, и

полицейские, дожидаясь, пока он дойдет до них, начали нетерпеливо приплясывать на месте. Растущая за их спинами толпа любопытных тоже переминалась с ноги на ногу и о чем-то перешептывалась. Должно быть, спорили о том, послушается ли этот странный бродяга полицию или все-таки попытается отплыть подальше от берега, а потом утопиться? Большинство из них, наверное, ждали, что он не подчинится, и бесплатный «спектакль», зрителями которого они так неожиданно сделались, станет еще интереснее.

Доставлять им такое удовольствие Гумилев точно не желал, поэтому побрел к берегу еще быстрее.

– Вот, умница, давай-давай, иди сюда! – подгонял его один из стражей порядка. Голос его теперь звучал добродушно, и в нем почти не было тревоги. Полицейский понял, что бродяга не захотел топиться у всех на виду и ему не придется вытаскивать его из воды. Теперь он хотел только одного: поскорее доставить неудачливого самоубийцу в участок и идти домой. Его напарник стоял рядом молча, нахмурившись и, как видно, все еще беспокоясь о нарушителе порядка.

Николай споткнулся и снова окунулся с головой в прохладную соленую воду. Полицейские выругались еще яростнее, но теперь они напрасно волновались – и Гумилев быстро встал на ноги, выбрался на мелководье и дошел наконец до берега. Вода стекала с его промокшего костюма маленькими водопадами, глаза снова защипало от морской соли. Он машинально полез в карман за носовым платком, собираясь вытереть лицо, обнаружил, что и карман, и платок в нем тоже насквозь мокрые, и опустил руки, окончательно сдаваясь на милость полицейских.

– Чертов бродяга! Чертов сумасшедший! – накинулся на него один из стражей порядка, заламывая ему руки. – Будешь сидеть в кутузке – там живо топиться передумаешь! Пошли!

Ругаясь и проклиная свое так неудачно закончившееся дежурство, полицейские ухватили Николая за руки с двух сторон и потащили его по пляжу – обратно в обычную жизнь, к веселым и счастливым людям.

Идти по песку теперь было еще тяжелее, чем двигаться по пояс в воде. Ботинки и брюки мгновенно стали тяжелыми от прилипшего к ним песка, но Николай не мог остановиться, чтобы стряхнуть его. Полицейские, продолжая поносить и его, и всех прочих нарушителей порядка, когда-либо попадавшихся им, без особых церемоний тащили молодого человека прочь с пляжа. На их еще недавно чистых и аккуратно выглаженных форменных сюртуках расплывались мокрые соленые пятна.

– Зря вы боялись в воду лезть, все равно теперь намокли, – не удержавшись от злорадства, сказал им Гумилев.

Ответом ему был очередной громкий поток ругани, и один из полицейских пригрозил:

– Вот заставим тебя платить за испорченную форму – живо смеяться перестанешь!

– Не заставите, у меня денег нет! – сообщил Николай, с трудом подавляя желание показать язык. Это, посчитал он, было бы чересчур по-детски.

– Да уж догадываемся, что ты без гроша в кармане! – огрызнулся на него другой полицейский. – И откуда ты только взялся такой?! Выговор у тебя не нормандский!

– Я из Парижа, – буркнул в ответ Николай.

– Ну вот, мало нам своих умалишенных! Теперь еще столичные сюда ездить топиться повадились! – одновременно возмутились оба его конвоира и принялись еще яростнее толкать пленника к дороге. Гумилев не сопротивлялся. Ему даже хотелось побыстрее оказаться в полицейском участке. Там он смог бы высушить одежду и согреться, а может, ему дали бы и поесть. А потом поспать… Неожиданно молодой человек понял, что ужасно устал и готов уснуть прямо на ходу, плюхнуться на песок и проспать целые сутки прямо на пляже под открытым небом. Однако арестовавшие его стражи порядка продолжали ругаться и пихать Николая с обеих сторон. Впрочем, он на них был за это совсем не в обиде…

– А еще ведь придется его за казенный счет обратно в Париж отправлять! – ворчали полицейские всю дорогу до участка.

«В Париж… – думал про себя совершенно закоченевший в мокром костюме и измученный Николай. – Там могут быть письма от родителей… И от Анны… Она, наверное, мне туда написала! А я ведь мог так и не узнать об этом…»

Глава IX Россия, Санкт-Петербург, 1909 г.

У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день-другой и завянут,
У меня не живут цветы.

Н. Гумилев

Зрительный зал Мариинского театра был забит до отказа. Как всегда бывало осенью, на спектакли приезжали даже те, кто не был особенно горячим театралом. Очень уж тоскливо было сидеть дома бесконечно длинными, то дождливыми, то снежными ноябрьскими вечерами. Первые пару недель после лета петербуржцы проводили, напрашиваясь в гости к близким и не очень близким знакомым, с которыми они не виделись все лето, и сами приглашали к себе гостей. Но потом поводы для визитов заканчивались, и наступала пора ездить по театрам. Заскучавшие горожане готовы были проникать в храмы Мельпомены тайком, стоять в проходах партера и сидеть вдвоем на одном стуле в ложах, лишь бы не грустить в своих полутемных квартирах в одиночестве.

Так было и в этот вечер. Желающих услышать положенную на музыку старинную легенду о докторе Фаусте набралось намного больше, чем мест в зале, в партере стояла сильная духота, но никто из приехавших в театр не жалел о том, что не остался дома. Даже те, кому приходилось слушать оперу стоя и без возможности увидеть, что происходит на сцене. Актеры «Мариинки», как всегда, были на высоте. Перед зрителями пел не известный солист, любимый всеми театралами Петербурга, а подписывал договор с дьяволом настоящий Фауст. И зрители, даже те, кто был равнодушен к театру и приехал на спектакль, спасаясь от скуки, в тот момент ни минуты не сомневались, что это именно он, Фауст, герой средневековой легенды и написанной почти сотню лет назад поэмы, герой старинной, но не забытой современными людьми истории…

Громкий удар, раздавшийся где-то наверху, в мгновение ока развеял эту мифическую атмосферу. Исполнитель партии Фауста впервые в жизни взял фальшивую ноту, кто-то из музыкантов в оркестровой яме сбился с ритма. Впрочем, зрители не обратили на это внимания – все с удивлением смотрели на потолок, на

котором в полумраке поблескивала бронзой огромная люстра, и пытались понять, что же там случилось. Те, кто бывал в «Мариинке» не слишком часто, с недоумением переглядывались. Постоянные посетители театра выглядели менее удивленными – многие из них знали, что над сценой находится художественная мастерская, а кое-кто был даже знаком с ее хозяином, Александром Головиным. Хотя и для них было странно слышать доносящийся оттуда шум. И Головин, и бывавшие в его студии натурщики, и приглашенные туда гости никогда не забывали о том, что прямо под ними расположена сцена, на которой по вечерам идут спектакли. Да им и сложно было об этом забыть из-за звучащей внизу музыки!

Но на этот раз те, кто находился в мастерской, явно не обращали внимания ни на музыку, ни на пение солистов. После первого, напугавшего всех, звонкого удара послышался более глухой стук, потом топот чьих-то ног и голоса, выкрикивающие что-то резкое. Правда, спектаклю все это больше не мешало. Музыканты взяли себя в руки и продолжили играть, певец опять превратился в тоскующего по Маргарите Фауста. Опера продолжалась, а вскоре и шум наверху стих, спустя несколько минут зрители и вовсе о нем забыли, опять погрузившись в трагический сюжет оперы.

А над сценой, где разыгрывалась старинная трагедия, кипели современные, но точно такие же бурные страсти. Два участника драмы, стоя друга напротив друга, молча буравили друг друга глазами и тяжело дышали. Это были две полные противоположности – высокий широкоплечий Максимилиан Волошин и худой, низкорослый Николай Гумилев, теперь еще и сильно ссутулившийся, из-за чего выглядел совсем маленьким. Два таких разных поэта, по-разному выглядевшие и писавшие в совсем разных стилях, были похожи только в одном: они смотрели друг на друга одинаково яростными, ненавидящими взглядами.

– Вы все поняли? – ледяным тоном спросил Волошин.

– Да, – так же холодом отозвался Гумилев.

Оба глубоко вздохнули и наконец отвернулись друг от друга. Волошин медленно провел левой ладонью по костяшкам пальцев правой, словно погладил свою руку. На ее тыльной стороне выступило несколько маленьких рубиновых капель крови, и Максимилиан чуть заметно поморщился. Одновременно с ним Николай поднес руку к лицу и тоже скривился от боли. Он был бледен, но его левая щека на глазах становилась пунцовой.

Все остальные присутствовавшие в мастерской молча окружили этих двух мужчин, еще недавно бывших приятелями, а

теперь в одно мгновение ставших злейшими врагами, переводили взгляд с одного на другого и не решались произнести ни слова. Только что на их глазах произошла слишком неожиданная сцена – не то чтобы совсем невозможная в мастерской художника, но все же довольно редкая. Встретились два талантливых поэта, и в тот же миг, как увидели друг друга, один из них изо всех сил влепил другому пощечину. Да еще и удар у него оказался таким мощным, что его жертва отлетела к стене и рухнула на пол, после чего не сразу смогла подняться на ноги. Все, кто оказался свидетелем этой сцены, в первый момент так растерялись, что даже не сразу бросились на помощь Николаю. Только спустя несколько секунд, когда Гумилев, прижимая руки к лицу, сам попытался встать, хозяин мастерской подскочил к нему, подставляя плечо. Остальные продолжали неподвижно стоять, по-прежнему не зная, что им следует делать.

– А Достоевский был прав, – ни к кому не обращаясь, пробормотал Иннокентий Анненский. – Звук пощечины действительно… мокрый…

Ему никто не ответил. Все ждали, что виновники всеобщего замешательства как-то объяснят свои действия, дадут понять, что случилось. Но никакого объяснения так и не последовало. Подравшиеся поэты убедились, что сами они хорошо понимают причину ссоры, а рассказывать о ней остальным, по всей видимости, не входило в их планы. Алексей Толстой сделал шаг к Гумилеву, собираясь что-то сказать, но Александр Блок жестом остановил его.

Николай, все еще держась за разбитое лицо, огляделся вокруг, отыскивая глазами свою шинель. Максимилиан, не глядя на него, тихо отступил в один из дальних углов. Вдоль стен мастерской были расставлены декорации к опере «Орфей и Эвридика», изображающие подземное царство Аида, и их мрачность придавала инциденту особенно зловещий оттенок. На мольберте в середине комнаты стоял незаконченный портрет Волошина – и как же не похоже было его спокойное и умиротворенное лицо на холсте на нынешнего раскрасневшегося от гнева Максимилиана! А снизу доносился сильный, прорывающийся сквозь пол, голос поющего о совсем иных временах и иных проблемах Федора Шаляпина, исполнявшего партию Мефистофеля.

Гумилев набросил на плечи шинель и, ни на кого не глядя, вышел из мастерской. Никто не пытался ни остановить его, ни проводить до дома, но он был только рад, что его оставили в покое. Оказавшись на полутемной театральной лестнице, он, уже не сдерживаясь, прижал обе руки к разбитому лицу и чуть

слышно застонал. Ну и сила у Волошина! Если судить по ней, то он не поэт, а боксер! Поэту полагается быть слабым и бледным от тяжелой и полной лишений жизни – вот он, Николай, отлично соответствует такому образу…

Эта мысль немного развеселила Гумилева. Он попытался было улыбнуться, но разбитые щека и губа тут же отозвались острой болью, и он снова схватился за лицо. На ощупь щека казалась распухшей, и он с тоской подумал о том, как ужасно будет выглядеть наутро. Да и теперь, надо полагать, вид у него не самый респектабельный…

Выйдя из театра, Николай поднял повыше воротник шинели и быстро зашагал по улице, стараясь не встречаться взглядами ни с кем из прохожих. К его огромной радости, снова начал идти мокрый снег, а потом еще и ветер поднялся, поэтому людей на улице почти не было – все сидели уже либо в гостях или театрах, либо у себя дома. Встретить в такой момент кого-нибудь из знакомых было бы для него самой настоящей катастрофой. Достаточно того, что об их с Волошиным ссоре знают пять человек!

Вспомнив о том, с каким любопытством смотрели на них с Максимилианом Александр Головин и его гости, Гумилев снова вспыхнул и сжал кулаки. Может, он, Николай, и виноват, но Волошин ничем не лучше его! Посчитал, что Николай обидел его приятельницу, вступился за ее честь – и сделал это так, что теперь о ней и об их ссоре из-за нее узнает весь Петербург! Да еще и виноватым в этом все посчитают только его, Николая…

Эта мысль привела Гумилева в еще более мрачное расположение духа, и он ускорил шаг, чтобы скорее оказаться дома, где можно дать волю своим чувствам. Усилившийся ветер бросил ему в лицо горсть мокрого снега, но молодой человек лишь наклонился вперед и опустил голову. О том, чтобы подъехать домой на извозчике, в такую погоду можно было только мечтать, те поджидали желающих поехать возле трактиров и ресторанов. «Надо было выйти к главному входу в «Мариинку», там наверняка экипажи были!» – запоздало упрекнул себя Николай, но возвращаться к театру не стал. Он успел уйти слишком далеко, вдобавок возле театра мог снова встретить Волошина или кого-нибудь из свидетелей их драки. Ему даже думать об этом не хотелось. Нет, лучше еще немного померзнуть и дойти до дома пешком!

К тому времени, как он добрался до своей квартиры, левая половина его лица сильно распухла, и Николай, увидев себя в зеркале, чуть не застонал от досады – вид у него был еще страшнее, чем он предполагал.

– И в таком виде ты теперь должен будешь защищать свою честь! – сказал он вслух своему отражению и плюхнулся на диван. «А уж как бы повеселилась Черубина, увидь она тебя сейчас!» – добавил он про себя, и ему стало совсем тоскливо. На самом деле он точно знал, что Лиля Дмитриева, которую теперь весь литературный мир России знал под именем Черубины де Габриак, конечно же, никогда не стала бы смеяться над ним. Вряд ли эта искренняя и слегка наивная девушка вообще была способна даже на самую легкую дружескую насмешку. А уж если бы она узнала, что произошло из-за нее между двумя ее друзьями, то вообще пришла бы в ужас. И еще придет – если Гумилев с Волошиным не помирятся и их ссора приведет к поединку. А она приведет к нему почти наверняка. Во всяком случае, Николай после того, что случилось сегодня, прощать Максимилиана и соглашаться на примирение с ним не собирался.

Он закрыл глаза и стал вспоминать, как увидел Дмитриеву в первый раз. Их знакомство поначалу было заочным. Гумилев читал очередной номер журнала «Аполлон», лениво пробегал глазами строчки стихов, написанных хорошо известными ему авторами, со скучающим видом отмечал про себя, что все они по-прежнему пишут об одном и том же – о несчастной любви, о тоске непонятно по чему и о том, что жизнь не имеет смысла, – и вдруг на глаза ему попалось совсем иное, необычное стихотворение, подписанное таким же необычным именем. Это были стихи о людях, похожих на цветы – на нежную мимозу и на потерявшие стыд орхидеи, на важные садовые розы и наивные полевые медуницы… Странные, неожиданные сравнения – сам Николай, наверное, ни за что бы не додумался до такого! Автором такого стихотворения, несомненно, был какой-то очень неординарный, очень талантливый человек.

Однако имя, которым были подписаны стихи о людях-цветах, ничего не сказало Гумилеву. Никогда раньше он не слышал о загадочной поэтессе, носящей имя Черубина де Габриак. Впрочем, в том, что оно вымышленное и что за ним скрывается русский автор, у Николая сомнений не было – таким вычурным мог быть только специально придуманный псевдоним, кроме того, ни один иностранец не смог бы создать такие прекрасные стихи на русском языке. Но вот чей это псевдоним, кто из поэтов пишет под ним о сходстве людей с цветами? Мысль об Анне Горенко Гумилев отверг почти сразу – она писала совсем иначе, в совершенно другой манере и на другие темы. Нет, под именем Черубины прятался кто-то другой, но кто?

Николай думал об этом несколько дней, перебирал в уме всех поэтов, которых знал лично, и всех, чьи стихи попадались ему в

журналах и сборниках. Ни один из известных ему стихотворцев явно не подходил на роль таинственной дамы по фамилии де Габриак, и это означало только одно: либо Николай плохо знал кого-то из современных поэтов, либо в литературном мире появился новый талант.

Желание узнать, кто такая Черубина де Габриак, вскоре завладело Николаем полностью. А следующий номер «Аполлона», в котором было напечатано другое стихотворение, подписанное этим псевдонимом, разжег его интерес еще сильнее. К тому же вскоре после этого Николай узнал, что другие литераторы тоже безуспешно пытаются раскрыть тайну этого имени и выдвигают самые невероятные предположения о том, кто на самом деле пишет эти чудесные стихи. Редактор «Аполлона» Сергей Маковский рассказывал, что встречался с ней лично, но никто, кроме него, больше не видел эту женщину. От Маковского же в литературных кругах узнали кое-какие подробности ее биографии. Он говорил, что она – француженка по отцу и русская по матери, а выросла в Испании, причем детство провела в католическом монастыре. Рассказывал под большим секретом, что поэтесса в ссоре с матерью и всегда говорит о ней как об умершей, хотя та жива, но много лет назад изменила ее отцу. Называл ее очаровательной и обаятельной и даже намекал, что влюблен в нее. Вот только можно ли верить всем этим рассказам и не был ли Маковский сам участником мистификации? Многие подозревали, что это именно так, а кое-кто даже считал, что Черубиной назвался сам Маковский, постеснявшийся публиковать в своем журнале собственные стихотворения. Доказательств этой версии, правда, ни у кого не было, но тем сильнее поэты, писатели и журналисты готовы были в нее поверить.

Правда, потом появилась другая сплетня – настоящим автором произведений Черубины стали считать Максимилиана Волошина, о котором Маковский как-то раз тоже обмолвился, что тот знаком с поэтессой и даже помогает ей вести переписку с журналами, но сам Волошин эти слухи решительно отрицал.

Гумилев больше склонялся ко второму варианту, к тому же стихи, которые Волошин подписывал собственным именем, очень сильно отличались от произведений де Габриак.

Каково же было изумление Николая, когда он узнал правду! Страстная иностранка, сочинявшая смелые стихи о Боге, любви и красоте, о дальних странах, прекрасных дамах и рыцарях, в действительности оказалась совершенно невзрачной, ничем не примечательной на вид, скромной учительницей! Она говорила тихим голосом, заметно хромала при ходьбе, стеснялась лишний раз посмотреть в глаза собеседнику, не считала себя талантливой

и не верила, что ее стихи привлекли бы всеобщее внимание, если бы не созданная вокруг них загадочная история с псевдонимом. Но познакомившись с ней чуть ближе и заглянув в глубину ее пугливых серых глаз, Гумилев увидел в них такую твердость и силу характера, что у него отпали последние сомнения в авторстве стихов Черубины.

С каждой встречей он уважал эту юную девушку все сильнее. Она читала свои новые стихи, обсуждала поэзию других авторов «Аполлона», и Николай восхищался и ее талантом, и острым критическим умом. Она просила Гумилева почитать его произведения, и он начинал волноваться, как будто декламировал собственные стихи впервые. Рассказывала о своем детстве и жестоких брате и сестре, насмехавшихся над ее хромотой и отламывавших ноги у ее кукол, а в следующую минуту уже улыбалась, говорила о них что-нибудь хорошее, и голос ее звучал так тепло, что Николай не верил своим ушам и поражался ее великодушию, позволявшему этой девушке забыть все обиды, простить родным злые и глупые детские шутки и продолжать любить их, несмотря ни на что.

Через несколько недель знакомства Гумилев уже не знал, кем восхищается больше – неприступной Анной Горенко или этой тихой, бесконечно доброй девушкой с ясными, широко распахнутыми, как у маленького ребенка, глазами. Нет, Анна, конечно, не была забыта, но она была далеко и не хотела встречаться с ним, не отвечала на его письма… А Черубина де Габриак, на самом деле носившая имя Елизавета Дмитриева, была рядом и с интересом общалась с ним, слушала его стихи, читала свои…

Мысль о том, что Дмитриева могла бы стать его женой и что с ней в отличие от Анны он был бы счастлив, в первый момент показалась Николаю глупой и странной. Но чем дальше, тем сильнее он уверялся в том, что его встреча с Лилей была не случайной и что именно она предназначена ему судьбой, чтобы утешиться после отказов Горенко. Однако произошедшее в конце концов между ними объяснение показало, что сама Дмитриева думала совершенно иначе.

– Вы – удивительный человек, вы – талант, – шептала она, отводя в сторону глаза и заливаясь краской от смущения. – Но… я принадлежу другому человеку. Он сейчас служит в армии, я его жду… Простите меня, Николай, но я не могу принять ваше предложение…

Что заставило Николая в тот же вечер проболтаться об отказе Елизаветы в компании таких же, как он, слегка подвыпивших литераторов и с досадой объявить, что юная поэтесса слишком

переборчива? То ли рухнувшая надежда на спокойную жизнь, то ли обида и задетая гордость… Но, как бы там ни было, приятели поняли его слова превратно, и по городу прошел слух о том, что он говорил о девушке в пренебрежительных выражениях. До самого Николая эта сплетня добралась в таком искаженном виде, что он даже не сразу понял, о чем шла речь. Говорили, будто бы он возмущался отказом Дмитриевой и обвинял ее в глупости, считая, что свадьба с ним для нее, хромой и невзрачной, единственный шанс выйти замуж, что он снизошел до нее, и она должна быть ему за это благодарной… Гумилев как мог опровергал эти слухи и уверял, что относится к Лизе со всевозможным уважением, однако большинство литераторов верили не ему, а любителям посплетничать.

Но хуже всего было то, что им поверил еще один друг Дмитриевой, Максимилиан Волошин, и посчитал, что Николая необходимо проучить за такое неподобающее мужчине поведение. Впрочем, теперь, после всего случившегося в театре, Гумилев и сам мечтал о том, чтобы встретиться с бывшим приятелем и собратом по перу с оружием в руках. «По крайней мере болтать теперь будут не о Черубине, а о нас с Максимилианом! – подумал он, обессиленно опускаясь на кровать и закрывая глаза. – Хоть что-то я смогу для нее сделать…»

Разбитые губы и щека продолжали болеть, в промокшей от растаявшего снега одежде было холодно, но усталость, внезапно навалившаяся на молодого человека, была так сильна, что он даже не попытался встать и привести себя в порядок. Сейчас ему хотелось только неподвижно лежать на кровати и ни о чем не думать. А всеми делами, связанными с дуэлью, он займется завтра…

Глава X Россия, Санкт-Петербург, 1909 г.

Борьба одна: и там, где по холмам
Под рёв звериный плещут водопады,
И здесь, где взор девичий, – но, как там,
Обезоруженному нет пощады.

Н. Гумилев

«История повторяется дважды, – с самого утра вертелась в голове у Гумилева эта знакомая еще со времен учебы в гимназии цитата, – в первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса». В юности ему казалось, что Гегель, говоря это, был слишком категоричен и что подобных закономерностей в истории не так уж много. Теперь же, собираясь встретиться с Максимилианом Волошиным на Черной речке, он не мог отделаться от мысли, что знаменитый философ был прав. Во всяком случае, такие повторения вполне возможны. И одно из них скорее всего вот-вот произойдет при его активном участии.

Но изменить что-либо и избежать фарса все равно уже невозможно. Оставалось только продолжать начатое дело и постараться, чтобы фарс, если уж он должен произойти, получился не слишком смешным…

Николай оделся в свой лучший костюм и, после недолгого раздумья, водрузил на голову цилиндр. Снова пришла мысль о повторении истории и о сходстве с событиями далекого прошлого, но без цилиндра он выглядел совсем не серьезно и не солидно. Впрочем, даже цилиндр не слишком улучшал ситуацию, отметил про себя молодой человек, проходя мимо зеркала. Но теперь поздно что-то менять, если бы он задержался дома еще хотя бы на минуту, то опоздал бы.

Подавив желание оглянуться и в последний раз окинуть взглядом комнату, из которой он, может быть, уходил навсегда, Николай с силой захлопнул за собой дверь. Вскоре он был уже за рулем своего недавно купленного автомобиля и снова отгонял от себя мысли о комедийности всего происходящего. Собираться стреляться на настоящих пистолетах прошлого века и ехать на дуэль в современном авто – в этом есть что-то невыразимо

гротескное… Но и ехать на извозчике, имея собственный транспорт, не менее глупо…

Ехать Николай старался не слишком быстро – несмотря на то, что держался он достаточно спокойно, полной уверенности, что справится с управлением на скользкой от мокрого снега дороге, у него не было. А произойди с ним что-нибудь плохое по дороге – никто бы не поверил, что это случайность. Однако его опасения не оправдались, он доехал до назначенного места встречи благополучно и довольно быстро. Еще подъезжая, Николай увидел несколько темных фигур, стоявших посреди засыпанного снегом пустыря и, судя по их жестам, что-то бурно обсуждающих. Но как следует рассмотреть их было трудно: чистый, девственный снег блестел на солнце, слепя глаза, и темные силуэты людей двоились на этом светлом фоне. «Этот снег совсем как песок в пустыне, только еще ярче!» – неожиданно пришло Николаю в голову. Это сравнение, такое несвоевременное и даже неуместное, заставило его на мгновение забыть о предстоящем поединке. Все его мысли, как это часто бывало, сосредоточились на новых образах. Жаркий пустынный песок и холодный мокрый снег… Туманный Петербург и просушенная насквозь палящим солнцем пустыня… Если соединить эти две картинки в одном стихотворении, показать, насколько они разные, как не похожи друг на друга, а потом, в финале, написать, что в то же самое время у них много общего, что и на снег, и на песок одинаково больно смотреть… Это может получиться очень необычное произведение!

«О чем я думаю?!» – изумился Гумилев и, не без сожаления отогнав все посторонние мысли, направил автомобиль к дожидавшимся его остальным участникам дуэли. Одна из фигур подняла руку в знак приветствия. Скорее всего это был Михаил Кузмин, хотя разглядеть лица поджидавших его людей Николай по-прежнему не мог – в глазах все плыло и двоилось. «Как я стрелять-то буду? Не увижу ведь толком ничего!» – запоздало начал он беспокоиться, остановил автомобиль у обочины, не доезжая до остальных несколько метров, и спросил, распахнув дверцу:

– Кажется, я не опоздал?

К нему торопливо шли его друзья Михаил Кузмин и Евгений Зноско-Боровский.

– Немного опоздали, но это не страшно. Волошина вообще еще нет, – сообщил ему Михаил.

Лица у обоих секундантов Николая казались разочарованными. Вот только догадаться о том, что именно их расстроило, Гумилеву было не под силу. То ли они хотели, чтобы

его противник получил по заслугам, и опасались, что из-за его отсутствия поединок не состоится, то ли, наоборот, хотели, чтобы на Черную речку не явились оба дуэлянта, и дело можно было бы как-нибудь замять. Приглядевшись к ним обоим, Гумилев решил, что скорее всего верно его второе предположение. Секунданты явно хотели, чтобы все закончилось миром, а его появление говорило о том, что вероятность такого исхода уменьшилась – если опаздывающий Волошин все-таки приедет, дуэль состоится.

Секундант Волошина, граф Алексей Толстой, оставшийся на месте, холодно кивнул вышедшему из автомобиля Николаю и снова перевел взгляд на дорогу. Он тоже ждал Волошина без особого энтузиазма. Возможно, даже с надеждой, что тот не приедет по какой-нибудь объективной причине…

Николай почувствовал злость. Для чего вообще было все это затевать, договариваться о дуэли, вставать ни свет ни заря и ехать через весь город, если все только и ждут мирного окончания этого дела?! Им что, хочется, чтобы он выглядел полным дураком?!

Чтобы не выдать своего раздражения, Гумилев медленным шагом обошел автомобиль и двинулся вдоль дороги, стараясь смотреть не по сторонам, а только себе под ноги. Нечего высматривать собственного противника, если Волошин все-таки приедет, друзья увидят его и сразу же скажут об этом! А его дело – держаться спокойно и с достоинством, как и полагается оскорбленной стороне.

Однако долго изображать безразличного ко всему трагического героя Николаю не удалось. Вдалеке послышался чей-то раздраженный крик, и он невольно поднял голову. По белому пустырю, глубоко проваливаясь в мокрый снег и неловко раскачиваясь при каждом шаге, к их маленькой группе приближался Волошин. Алексей Толстой быстрым шагом направился ему навстречу. Секунданты Гумилева остались на месте, но внимательно следили за Максимилианом, готовые поздороваться с ним, когда он подойдет поближе.

Николай развернулся и зашагал обратно к автомобилю. Сохранять равнодушный вид и идти медленно с каждым мгновением становилось все труднее. Но он все же сумел удержаться от спешки и подошел к своим друзьям, когда Волошин и Толстой уже были рядом с ними и пытались что-то объяснить, растерянно разводя руками. Гумилев вопросительно посмотрел на обернувшегося к нему Кузмина, и ему показалось, что тот чуть заметно улыбался, а потом с большим усилием придал своему лицу серьезный вид.

– Максимилиан Александрович где-то потерял калошу, – объяснил он напряженным голосом – Николай мог поклясться,

что его другу смешно и он всеми силами пытается это скрыть. – У него извозчик застрял в снегу, и он сюда пешком шел… Просит дать ему немного времени, чтобы найти…

Стоявший рядом с ним Зноско-Боровский тоже повернулся к Николаю и, не скрываясь, ехидно усмехнулся. Толстой и Волошин сделали вид, что смотрят в другую сторону и не замечают всех этих насмешливых взглядов.

– Да, конечно, пусть ищет… – от такого поворота событий Гумилев тоже немного растерялся.

– Благодарю вас, – церемонно ответил ему Алексей Толстой, но выражение его лица при этом было таким же напряженным, как и у секундантов Николая. Они с Максимилианом медленно и неуклюже зашагали по пустырю обратно, вдоль оставленной им цепочки следов. Сначала они о чем-то переговаривались на ходу, но потом, отойдя достаточно далеко от Гумилева и его друзей, действительно принялись сосредоточенно высматривать что-то в снегу. Пройдя около сотни шагов, они остановились возле небольшого сугроба и принялись топтаться в нем, а потом и раскапывать снег руками. Так прошло еще несколько минут, после чего они выпрямились и прошли еще немного дальше – до следующего снежного холмика, в котором тоже стали рыться в поисках утерянной обуви.

– И как он вообще умудрился ее потерять… – насмешливо фыркнул Евгений.

– Сейчас снег такой липкий, в нем сапог может застрять, не только калоша, – возразил Михаил. – Я сам, пока сюда шел, чуть боты в сугробах не оставил.

Оба тихо хихикнули. Гумилев отвернулся и от них, и от ищущих калошу Максимилиана и Алексея, сделав вид, что смотрит на свой автомобиль и не слушает эти веселые разговоры. Несколько минут он не сводил глаз с заляпанной мокрым снегом дверцы, но потом не выдержал и украдкой скосил глаза на пустырь. Две маленькие фигурки, в которых Николаю, с его слабым зрением, с трудом удалось узнать Волошина и Толстого, продолжали копаться в сугробах – теперь еще на десяток шагов дальше от дороги. На снегу четко выделялась сероватая полоса их следов, «украшенная» более широкими «кляксами» в тех местах, где они останавливались для поисков калоши. Таких мест было уже пять, но Максимилиан продолжал искать пропажу, время от времени выпрямляясь и, судя по резким жестам, высказывая свое отношение к происходящему не в самых приличных выражениях. Его секундант в ответ снова и снова разводил руками, словно оправдываясь в том, что калошу никак не удается найти.

– Так они ее до вечера будут искать! – хмыкнул Михаил

Кузмин. – Евгений, может, стоит им помочь? – и он вопросительно посмотрел сперва на Зноско-Боровского, а потом на Николая. Тот равнодушно пожал плечами:

– Помогите, чего уж там…

Его секунданты торопливо зашагали по снегу к «вражескому лагерю», и вскоре в очередном сугробе рылись уже четыре одетых в черное человека. Гумилев по-прежнему старался не смотреть на них, но любоваться пустой дорогой и заснеженным полем было невыносимо скучно, и он поневоле косился туда, где происходило хоть что-то интересное. А Волошин со своими помощниками все так же безуспешно искал калошу, время от времени со злостью пиная холмики снега ногой и размахивая руками. Толстой попытался успокаивающе похлопать его по плечу, но тот в ответ раздраженно сбросил его руку. Кузмин обо что-то споткнулся и едва не упал, Зноско-Боровский поддержал его, и они оба, как показалось Николаю, начали смеяться.

Проклиная Волошина, Толстого, Лизу Дмитриеву и заодно весь белый свет, Гумилев быстрым шагом двинулся к своим спутникам. Те, увидев его приближающуюся фигуру, выпрямились, и их лица снова стали виноватыми.

– Ищем вот… Пока не нашли… – пробормотал Евгений. Максимилиан и Алексей молча кивнули, стараясь не смотреть Николаю в глаза.

– Давайте теперь вон там глянем, – предложил Михаил, указывая на небольшую впадину на снегу, через которую тоже шла цепочка следов Волошина.

– Нет, здесь я не проваливался, надо дальше смотреть, вон в тех сугробах, может быть, – неуверенно произнес Максимилиан.

Николай не видел, куда он показывает, но все остальные со вздохом зашагали дальше по полю, и ему пришлось пойти за ними. Волошин остановился у еще одной горки снега, с сомнением посмотрел на свои глубокие следы и присел рядом с ней на корточки.

Гумилев вдруг заметил, что его брюки и полы длинного пальто были мокрыми от растаявшего снега. Оглядел остальных участников так и не начавшейся дуэли, решительно присел рядом со своим противником и засунул руки в липкий мокрый снег:

– Мы ее найдем, не могла же она исчезнуть.

Тонкие замшевые перчатки быстро промокли, и Николаю пришлось снять их и положить рядом с сугробом. Перебирать снег голыми руками оказалось еще неприятнее, но бросать это дело теперь, когда он уже пообещал помочь Максимилиану, было бы совсем неправильно. Подавив громкий вздох, Гумилев зарылся в сугроб еще глубже, растопырил пальцы и стал медленно

«прочесывать» ими рыхлый тающий снег. И почти сразу же его пальцы наткнулись на что-то твердое и упругое. Он изумленно хмыкнул и принялся быстро раскидывать снег в разные стороны. Все остальные повернулись к нему, и Гумилев, чувствуя себя фокусником, извлекающим из шляпы живого кролика, вытянул у них на глазах из снега мокрую блестящую галошу.

– Это не она? – поинтересовался он, не глядя на Волошина и стараясь, чтобы его вопрос прозвучал не слишком иронично.

– Она самая! – обрадованно воскликнул Максимилиан и улыбнулся Николаю той дружеской улыбкой, какими они обменивались раньше, до ссоры.

Их секунданты настороженно переглянулись, пытаясь понять, как противники поведут себя дальше. Не готовы ли они теперь, после удачных совместных поисков галоши, пойти на примирение?

Гумилев и Волошин уже не смотрели друг на друга. Вид у обоих был растерянный и даже как будто бы смущенный. Они тоже не были уверены в том, что им все еще хочется выяснять отношения.

– Похолодало что-то… – небрежным тоном заметил Кузмин. – А мы все мокрые от снега этого дурацкого…

– Да, так и простудиться недолго, – поддержал его Толстой.

Дуэлянты, не сговариваясь, поежились – воздух и правда становился все холоднее, а потом опять подняли головы и уставились друг другу в глаза.

– Я думаю, – медленно и неуверенно заговорил Гумилев, – что, если мы сейчас отправимся по домам просто так, нас поднимет на смех весь город.

– Над нами и так все смеяться будут, – проворчал Волошин, все еще вертя в руках свою пропажу.

– Если мы все-таки обменяемся выстрелами, то не будут, – усмехнулся Николай. – Ну или по крайней мере будут, но не очень сильно.

– Вы правы, – кивнул Волошин и вопросительно посмотрел на своего секунданта. Толстой тоже с готовностью закивал, и в следующее мгновение к нему присоединились и Кузмин со Зноско-Боровским.

Поединок занял всего несколько минут. Две осечки, потом два не причинивших никому вреда выстрела в воздух – и противники со своими друзьями зашагали прочь от берега Черной речки, тихо споря о том, куда им поехать теперь и чем лучше отогреваться, чтобы не схватить воспаление легких. Вскоре о второй и последней случившейся на этом месте дуэли напоминало только множество запутанных цепочек следов.

Глава XI Россия, Киев, 1909 г.

Долгим взглядом твоим
истомленная,
И сама научилась томить.
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить?

А. Ахматова

Поэтический вечер был в самом разгаре. В просторном зале Купеческого собрания было шумно даже в те моменты, когда кто-нибудь из выступающих читал свои стихи. Слишком уж много было слушателей, которые к тому же через час после начала вечера успели немного устать от сидения на одном месте. Поэтому если первых, самых смелых стихотворцев, решившихся поделиться со всеми своими сочинениями, гости слушали тихо и внимательно, то затем многие начали сперва перешептываться, обсуждая услышанное, а потом спорить о достоинствах и недостатках стихов в полный голос.

Авторам, встающим с места и начинающим читать стихи, приходилось повышать голос, изо всех сил стараясь привлечь к себе внимание. Некоторые из тех, кто не решился заявить о себе в начале вечера, видя, как меняется отношение слушателей к их собратьям по перу, и вовсе раздумали выступать и теперь лишь дожидались удобного момента, чтобы уйти. Подумывал об этом и Николай Гумилев. Однако против того, чтобы отказаться от чтения стихов, существовал один крайне значимый аргумент: сидящая среди слушателей Анна Горенко.

Он заметил ее не сразу. Сама она не выступала, не читала стихов, а других поэтов слушала молча. Но стоило Николаю случайно посмотреть в ее сторону, и красивый профиль любимой женщины тут же бросился ему в глаза. Он с трудом удержался, чтобы не ахнуть и вообще никак не привлечь к себе внимания – такой неожиданностью оказалось для него присутствие Анны на этой встрече. Хотя он знал, что она в Киеве, и мог бы догадаться, что ее заинтересует этот литературный вечер…

Анна смотрела на очередного выступающего, слушала пафосные слова, которые он выкрикивал чуть хриплым напряженным голосом, и на ее лице было то самое выражение, которое привлекло Николая в день их знакомства, – задумчивое и даже отрешенное. Гумилев теперь знал его очень хорошо и мог поклясться, что девушка не понимает, о чем говорит в своих

стихах незнакомый поэт. Она слушала его, но не слышала, ее мысли были заняты совсем другим – созданием собственного стихотворения. И Николай тоже перестал слышать выступающего, полностью погрузившись в любование ее красотой. Как же он был рад, что Анна занята своими мыслями и не замечает его взгляда! Как же ему повезло, что можно смотреть на нее, не рискуя показаться нескромным и навязчивым!

Стихотворение, которое Гумилев так и не смог оценить по достоинству, потому что не запомнил в нем ни строчки, закончилось, но Анна все так же сидела с отрешенным видом, не обращая внимания на происходящее вокруг. Окончательно уверившись в том, что она сочиняет новое стихотворение, Николай встал со своего места и медленно двинулся в ее сторону. Неподалеку от девушки как раз освободилось кресло, и, если бы Николаю удалось его занять, он мог, как бы случайно, встретиться с ней взглядами во время следующего выступления. Если, конечно, она к тому времени закончит думать над своим стихотворением…

Но добраться до не занятого места Гумилеву не удалось.

– Николай Степанович? – прозвучал у него за спиной радостный голос, и он, с трудом скрывая досаду, обернулся.

Перед ним стоял один из его знакомых петербургских журналистов. Имя его улетучилось у Гумилева из памяти, и он смог в ответ лишь рассеянно кивнуть:

– Да, добрый вечер… Очень рад вас здесь встретить!

– Я тоже очень рад! Не знал, что вы в Киеве! – улыбнулся журналист. – Вы ведь будете сегодня читать стихи?

– Да нет, я вообще случайно сюда зашел и совсем не думал… – ответил Николай и внезапно обнаружил, что рядом с ним уже собралась небольшая толпа. Семь или восемь человек стояли вокруг Гумилева и разглядывали его со всевозрастающим любопытством во взглядах. «Ну, конечно же! – догадался он. – Им не стихи мои интересны! Все они слышали про нашу дуэль с Волошиным и еще не успели забыть эту новость. Неужели они всерьез думают, что я буду об этом рассказывать?!»

– Почитайте стихи, если вам не трудно, мы все их очень ждем! – попросила его одна из вертевшихся рядом дам. Весь ее вид говорил о том, что ей не терпится посплетничать о скандально известном поэте, но Николай не собирался доставлять ей такого удовольствия. Лучше уж пусть эти любительницы перемывать косточки всем подряд болтают о его поэзии, а не о его личных делах!

– С радостью почитаю, если вам этого хочется! – галантно улыбнулся любопытной даме Гумилев. Краем глаза он увидел,

что Анна обернулась в его сторону – должно быть, ее внимание привлекло щебетание окруживших его женщин. За это он готов был простить им нездоровый интерес к своей персоне и прочитать стихи с искренним удовольствием!

Их с Анной взгляды встретились. Николай слегка поклонился, девушка в ответ вежливо улыбнулась и кивнула. Однако в глубине ее темных глаз тоже промелькнул интерес: она, так же как и другие собравшиеся в зале, хотела услышать его новые стихи – в этом Гумилев не сомневался! Теперь желание Анны слушать его необходимо было «подогреть», усилить – и никак не допустить, чтобы ей стало скучно во время его выступления!

– Внимание, господа, минутку внимания! – тем временем уже звенел над галдящей толпой голос одной из узнавших его девушек. – У нас еще один гость, Николай Степанович Гумилев из Петербурга!

– Николай Степанович, выходите сюда, чтобы вас лучше слышно было! – нетерпеливо кивнула на середину зала ее подруга.

Анна улыбнулась Гумилеву, и ему показалось, что в ее взгляде было сочувствие. Неужели она догадывалась, что он пришел сюда совсем не для того, чтобы читать стихи, и что теперь, когда он увидел ее, ему особенно не хотелось этим заниматься? А главное, что особенно удивительно, неужели ей захотелось поддержать его в этом?

Окрыленный этой мыслью Николай решительно вышел в центр зала и обвел глазами своих слушателей. На него было обращено несколько десятков пар любопытных глаз, громкоголосые журналистки сумели привлечь внимание даже тех, кому давно надоело слушать чужие стихи.

Он никогда не чувствовал особого смущения, читая вслух собственные произведения. С тех самых пор, когда в шесть лет сочинил первое маленькое стихотворение об Африке и показал его няне и родителям – их искренняя восторженная похвала заставила его забыть о стеснительности навсегда. Но теперь он, впервые в жизни, ощутил ту самую неловкость, за которую раньше посмеивался над другими авторами. Его по-прежнему не слишком заботило, что подумают присутствующие о прочитанных им стихах, но откуда-то взялся страх, что они не понравятся Анне. Хотя ей он тоже читал свои произведения много раз…

Однако раздумывать над этой странностью Николаю было некогда. От него ждали стихов, и он начал читать самое последнее из своих произведений, сосредоточившись на том, чтобы не сбиться, ничего не забыть и не перепутать

окончательный вариант стихотворения с одной из его предыдущих, забракованных им версий. Он читал, разглядывая лица слушателей, и не без гордости замечал на них неподдельный интерес – теперь уже к стихам, а не к последним бурным событиям его жизни. Кажется, даже самые любопытные сплетницы забыли и о Черубине де Габриак, и о дуэли с Волошиным, и обо всех слухах, которыми обросла эта история. Скорее всего забыли только на время, только пока он читал, но все-таки это было для него серьезным достижением!

И только о том, с каким видом слушала его Анна, Николай не имел ни малейшего представления. Он специально старался не смотреть в ее сторону – это точно помешало бы ему закончить стихотворение, заставило бы его перепутать слова и замолчать, причем независимо от того, увидел бы он в глазах Анны интерес или, наоборот, обнаружил бы, что ей скучно. Сосредоточиться на стихах он мог только так, не зная, что чувствует его любимая женщина.

Закончив одно стихотворение и сделав короткую паузу, Николай принимался читать следующее. Слушатели молчали, не решаясь прервать его, да и не успевая это сделать, так быстро поэт переходил от одного произведения к другому. Стихи об Африке сменялись стихами о России, стихи о красоте – стихами о любви… Закончив с недавними произведениями, Гумилев прочитал еще и пару старых стихов и с радостью заметил, что в глазах некоторых присутствующих вспыхнуло узнавание.

Наконец молодой человек замолчал и слегка поклонился слушателям. Тишина в зале тут же сменилась взрывом восторженных возгласов и хлопков.

– Еще! Еще, пожалуйста! – закричали слушатели, обступая поэта со всех сторон, но он в ответ только покачал головой:

– На этот раз достаточно! Куда уж больше?

Восхищенный гвалт вокруг сменился разочарованным, но Гумилев уже не слушал обиженных поклонников. Его глаза выискивали среди собравшихся Анну, но никак не могли найти ее. Он с ужасом подумал, что она ушла из зала, что ей надоели его стихи, что она вообще не хотела с ним встречаться и сбежала при первой возможности. Но уже в следующий миг эти страшные подозрения рассеялись. Анна была в зале, ее темноволосая головка мелькала среди толкающихся вокруг Николая людей, она пыталась пробраться поближе к нему.

Поклонники и любопытные сплетницы тут же перестали существовать для Гумилева. Он аккуратно, но решительно отпихнул в стороны двух наседавших на него журналистов, пытавшихся, перебивая друг друга, что-то спросить у него, и

шагнул навстречу Анне. Бурлящее вокруг них человеческое «море» мешало им приблизиться друг к другу, но Николай протянул руку, девушка с силой ухватилась за нее, и в следующий миг он был уже рядом с ней.

– Отойдем куда-нибудь, – предложил Гумилев и потащил свою любимую прочь из толпы.

К счастью, остальные присутствующие, убедившись, что от Гумилева они больше ничего не услышат, перенесли свое внимание на кого-то другого – за спиной Николая послышались новые просьбы «что-нибудь прочитать», обращенные уже не к нему. Долго скучать без новых выступлений собравшиеся не желали.

Николай и Анна отошли к стене и, оглянувшись на остальных участников вечера, снисходительно усмехнулись.

– На таких вечерах все, как в жизни, – задумчиво сказала Анна. – Сейчас ты в центре внимания, а уже через минуту – ты забыт, и всем нужен кто-то другой…

– Есть такое, да, – согласился Николай. – Но ведь в жизни есть и такие поклонники, которым мы нужны всегда! Значит, и на вечерах они тоже должны иногда попадаться…

– А они попадаются, – ответила девушка, и ее лицо неожиданно озарилось доброй, но слегка лукавой улыбкой.

Сердце у Николая забилось еще сильнее, чем в тот момент, когда он читал стихи. Неужели Анна намекала на то, что она и есть такая поклонница, что ей всегда была нужна его поэзия?

– Аня, пойдем гулять? – неожиданно предложил он.

– Ты знаешь… – Анна смущенно опустила глаза и вдруг улыбнулась: – Я ужасно голодная… Давай зайдем куда-нибудь поужинаем!

– Конечно, пойдем! – облегченно рассмеялся Николай. Самому ему в тот момент совершенно не хотелось есть, но ради любимой девушки он был готов проглотить любое блюдо.

– Я остановилась в гостинице «Европейская»… тут недалеко, – все так же осторожно продолжила Анна. – Там есть хороший ресторан. Сходим туда?

– Отличная мысль, пошли! – и молодой человек решительно двинулся к выходу из зала, прокладывая шедшей за ним девушке путь через весело щебечущую толпу.

Через полчаса они были в ресторане. Еще через час – сидели в холле гостиницы. Анна смотрела в окно, за которым уже давно не было видно ничего, кроме ночной темноты.

– Послушай, – после нескольких минут напряженного молчания заговорил Николай. – Я тебе в этом признавался уже много раз… И я помню, что ты мне всегда отвечала. Но все равно

скажу это еще раз. В последний. Аня, я очень тебя люблю и хочу быть твоим мужем.

Анна ответила не сразу. Еще почти минуту она молчала, словно специально хотела напоследок помучить Николая. Она сидела перед ним, опустив глаза, и он думал о том, что только что сделанное ей, уже неизвестно какое по счету, предложение руки и сердца ничем не отличается от всех предыдущих. Он уже просил ее выйти за него замуж и в письмах, и при встрече, на поэтических вечерах и на улице, в шумных компаниях и на пустынном морском берегу. Просил разными словами, то требовательно, то умоляющим голосом, но каждый раз получал один и тот же ответ. С чего же вдруг он размечтался, что теперь все закончится иначе?!

– Да, Коля, я согласна, – пушечным выстрелом прозвучал в тишине гостиничного вестибюля тихий голос девушки.

Глава XII Египет, пустыня Сахара, 1909 г.

Видишь, мчатся обезьяны
С диким криком на лианы,
Что свисают низко, низко,
Слышишь шорох моих ног?
Это значит – близко, близко
От твоей лесной поляны
Разъяренный носорог…

Н. Гумилев

Второй приезд Николая в Африку был совсем не похож на первый. Три года назад он выбрался на берег Черного континента из трюма старого грузового корабля, измученный плаванием и едва державшийся на ногах от усталости. Приехал туда, почти ничего не зная об этой стране, вынужденный изображать мечтателя, желающего увидеть экзотические страны и не имеющего ни малейшего понятия о том, что он будет делать дальше, когда мечта исполнится, а взятые с собой деньги подойдут к концу. Он позволил отправить себя в далекий Египет, чтобы на время забыть о России и о том, что в ней осталась его любимая женщина. Он думал, что уже никогда не будет счастлив и что его жизнь скоро закончится…

Насколько же иначе выглядело его прибытие в Порт-Саид теперь! С парохода на берег сошел респектабельный молодой исследователь, готовый изучить африканские страны вдоль и поперек. Исследователь, которого ждали на Родине серьезные, убеленные сединами ученые и самая красивая в мире невеста. Который знал, что обязательно должен был вернуться к ним – с победой над Африкой, с новыми, никому не известными фактами о жизни ее обитателей, с новыми стихами. Сходство между этим исследователем и тем не уверенным в себе юношей, который посетил Африку в первый раз, было только в одном: и тогда, и теперь Гумилев играл определенную роль. Просто роли эти были совсем не похожи друг на друга…

Стихотворные строки, пока еще не сложившиеся в целое произведение и не очень хорошо подходящие друг к другу, вихрем вертелись у Николая в голове все время, пока он плыл по Средиземному морю. Но времени на то, чтобы записывать их и тем более доводить до совершенства, у Гумилева почти не было.

Он лишь изредка делал небольшие наброски, обещая себе, что обязательно займется стихами позже, когда будет закончена подготовка к путешествию по Абиссинии. Но в итоге ему так и не удалось выкроить на это ни минуты, а теперь, когда предстоял долгий и обещающий быть очень трудным поход, о поэзии и вовсе можно было забыть. Приходилось отгонять особо назойливые строки и надеяться, что на каком-нибудь привале он все-таки сможет их записать.

Но это было единственное, что огорчало молодого человека. Все остальное – горячий африканский ветер, экзотические запахи, ярко сияющее солнце и предвкушение интересных открытий – приводило его в такое радостное расположение духа, что невозможность писать стихи на фоне новых впечатлений казалась мелкой неприятностью.

И снова он ехал на верблюде через бесконечную пустыню. Снова вокруг были только пески – желтые, темно-коричневые, розовые… А еще – скалы и камни среди песчаных «волн», снующие по песку ящерицы, ослепительное солнце над горизонтом. Он вертел головой и любовался окружающим его пейзажем с таким же восхищением, как и три года назад, словно видел все это в первый раз.

«Надо будет все-таки кое-что записать, когда дойдем до оазиса», – думал молодой путешественник. В голове у него вновь начали нанизываться друг на друга стихотворные строчки о пустыне и ее красотах. Но сосредоточиться на них Гумилеву не дали.

– Не забывайте пить! – крикнул ему с соседнего верблюда племянник Коля Сверчков.

Николай обернулся к нему. Несмотря на то что юноша впервые сел на верблюда всего час назад, он уверенно держался в седле и, казалось, не испытывал никаких неудобств. В одной руке у него была открытая фляжка, в другой – крышка от нее. Улыбаясь Гумилеву, он сделал небольшой глоток и, быстро завинтив фляжку, прикрепил ее к поясу. Николай с благодарностью кивнул молодому человеку и потянулся за своей фляжкой. В том, что касалось мер предосторожности, он тоже мало изменился – снова едва не забыл о том, что в пустыне надо постоянно прикладываться к воде. Ну да ничего, заботливый племянник ему, если что, всегда об этом напомнит!

Гумилев сделал большой глоток нагревшейся, но все равно приятной на вкус воды, повесил фляжку обратно на пояс и снова огляделся по сторонам. Вокруг него плавно переходили один в другой песчаные холмы – такие разные, не похожие друг на друга, каждый своего, неповторимого оттенка, справа приближалась

высокая груда темно-коричневых камней. Жаль только, что любоваться всем этим мешало палящее солнце, свет которого с каждой минутой становился все ярче и уже ощутимо слепил глаза. Он надвинул подвязанную тесемкой шляпу пониже на лоб и прищурился. Далеко впереди, на горизонте, виднелись едва различимые треугольные силуэты пирамид. Горячий воздух дрожал над песком, и их контуры то и дело расплывались, но Николай уже видел пирамиды и на таком далеком расстоянии, и вблизи, и точно знал, что это не мираж и что их маленький караван идет верным путем. Можно было закрыть глаза, чтобы дать им немного отдохнуть от яркого света.

Так Николай Гумилев и ехал следующий час – с закрытыми глазами, отрешившись от реальности и изредка проваливаясь в легкую дремоту, которая, правда, проходила, стоило верблюду, на котором он сидел, сделать какое-нибудь достаточно резкое движение. Лишь время от времени он открывал глаза, встряхивал головой, чтобы отогнать сон, и проверял, не сбились ли они с дороги. Его спутники тоже ехали молча – то ли дремали в седле, то ли думали о чем-то своем, доверяя его умению ориентироваться в пустыне.

Вскоре идеально ровные силуэты пирамид стали резкими и четко выделяющимися на фоне бледно-голубого, словно выцветшего от беспощадного пустынного солнца неба. Юный Сверчков больше не клевал носом – несмотря на непривычную для него жару, он оживился, выпрямился в седле и не спускал с пирамид восхищенного взгляда. Гумилев украдкой поглядывал на племянника и от всей души сочувствовал ему: он прекрасно понимал, что юноше страшно хотелось подъехать к самой высокой из пирамид, дотронуться до камней в ее основании, а может, и забраться на ее вершину, как сделал он сам, впервые оказавшись в Гизе. Но теперь их маршрут проходил в стороне от единственного уцелевшего чуда света, а делать ради новичка даже не слишком большой крюк Николай не мог. Лишний час под палящим солнцем был слишком опасен для каждого из членов экспедиции, а племянник и так переносил жару хуже остальных.

Понимал это и сам Сверчков. Поэтому он лишь долго оглядывался на пирамиды и шумно вздыхал, пока они не остались далеко позади. Впрочем, вскоре юноше стало не до сожалений о древних гробницах фараонов. Вода в его пристегнутой к поясу фляжке закончилась, и он все чаще бросал нервные взгляды то на одного из нагруженных бурдюками с питьем верблюдов, то на остальных путешественников, но при этом не решался признаться, что хочет пить. Гумилев некоторое время выжидал, надеясь, что племянник преодолеет

стеснительность и сам попросит воды, но тот продолжал всем своим видом изображать ни в чем не нуждающегося опытного путешественника. Убедившись, что юноша собирается молча терпеть жажду и дальше, Николай снисходительно вздохнул и объявил короткую остановку. Сверчков ответил ему полным благодарности взглядом и припал к своей фляжке, как только ее снова наполнили водой. Гумилев подумал было о том, чтобы отчитать племянника за мальчишество и велеть ему в следующий раз не скрывать возникшие проблемы, но потом решил не «добивать» и без того расстроенного юношу. По его лицу и так видно, что он уже сам все понял.

До первого большого привала они дошли благополучно. Беспощадная жара начала нехотя, очень медленно спадать, Сверчков, чувствуя это, довольно улыбался, а Гумилев, поглядывая на него, с сочувствием думал о том, что племянника ждет еще одно испытание – леденящий холод ночи в пустыне. Но его юный тезка оказался более выносливым, ночью отдежурил положенное время без всяких жалоб и наутро, когда путешественники стали собираться в дальнейший путь, выглядел бодрым и радостным.

«Нет, не зря я его с собой взял, не зря сестру уговаривали его отпустить! Все у него хорошо, и польза от него в экспедиции тоже еще будет», – окончательно уверился Гумилев, уже не сомневаясь в приспособленности племянника к путешествиям.

Следующие несколько дней еще сильнее укрепили его уверенность в этом. И Сверчков, и все остальные участники экспедиции оказались сильными выносливыми мужчинами. Гумилев ни разу не услышал ни от кого ни жалоб на тяготы походной жизни, ни ругани из-за жары, горячего ветра и летящей в глаза пыли. Не проявили они никакой слабости и спустя несколько недель, когда пустыня вокруг них сменилась непроходимыми влажными лесами, сквозь которые приходилось идти, не разгибаясь, и через каждые несколько шагов останавливаться, чтобы расчистить себе дорогу. Хотя сам Николай в первый день пути через джунгли едва не пожалел о том, что согласился отправиться в эту экспедицию. Оказалось, что продираться сквозь плотные заросли, будучи хорошо подготовленным к походу, гораздо труднее, чем легкомысленно бродить по пустыне без какого-либо снаряжения, как он делал во время своего прошлого визита в Египет. Тогда ему по крайней мере не нужно было тащить на спине тяжеленный рюкзак…

Но еще через несколько дней Гумилев привык к джунглям, научился идти сквозь заросли так, чтобы меньше уставать, и опять начал радоваться жизни. А под конец пути, когда они были

уже почти у цели, у него появилось время и на то, чтобы во время стоянки спокойно посидеть у костра и записать давно пришедшие ему на ум первые строчки нового стихотворения. Правда, на следующий день времени перестало хватать даже на самое необходимое: экспедиция вошла в Абиссинию.

Юный племянник Николая за месяцы пути по джунглям стал смотреть по сторонам менее восторженным и более осторожным взглядом. Однако теперь, когда экспедиция приближалась к своей цели, его глаза снова загорелись той жаждой приключений и открытий, которую Гумилев видел в них в самом начале пути. Он надеялся, что теперь скучная и тяжелая часть путешествия закончится и начнется все самое интересное. Гумилеву было очень жаль разочаровывать племянника второй раз подряд, но он ничего не мог с этим поделать. Юноше предстояло окончательно убедиться, что романтики в этнографических экспедициях не бывает вовсе.

Однако в самом конце пути Николаю стало не до племянника и его чувств. Гораздо сильнее его беспокоили другие спутники, в разговорах которых проскальзывали странные намеки в его адрес. Все чаще они удивлялись, почему Николая, не имеющего ни высшего этнографического образования, ни особого опыта путешествий, назначили на одну из главных должностей научной экспедиции. Объяснения этой странности у участников похода были разные. Самое популярное Гумилеву сообщил окончательно освоившийся в походе племянник.

– Ребята говорят, что тебя взяли в Африку, потому что кто-то влиятельный попросил за тебя в Этнографическом обществе, – поведал он дяде на очередной стоянке, когда они оказались вдвоем в палатке. – Многие почему-то думают на дедушку! Но ведь он нас обоих сюда отпускать не хотел! А в первый раз ты в Египет вообще тайком от него сбежал, разве нет?

– Тайком, – подтвердил Николай, с улыбкой вспоминая свое первое путешествие в трюме. Но уже в следующую минуту снова посерьезнел – с болтовней спутников о том, как он попал в экспедицию, надо было что-то делать…

– Дедушка тут ни при чем, – заверил Гумилев племянника. – Меня отправили сюда в основном потому, что никто из наших «ученых мужей» не хотел переться в эти дикие места. Это ж мы с тобой – из тех «ненормальных», кому все это интересно! – добавил он, повысив голос и надеясь, что его смогут расслышать и за стенами палатки. – А обычным людям больше нравится в теплых кабинетах сидеть и умные книжки писать!

Николай-младший понимающе кивнул, и на его лице расплылась презрительная улыбка, адресованная кабинетным

ученым, не понимающим прелести опасных путешествий. Слова Гумилева убедили юношу, но вот убедят ли они так же легко всех остальных участников экспедиции? В этом Николай был совсем не уверен. А развеять слухи о чьей-либо протекции нужно было во что бы то ни стало.

На следующий день во время длинного перехода через джунгли Гумилев изо всех сил старался вести себя как можно более легкомысленно. На узкой тропе постоянно сворачивал в окружающие ее заросли, высматривая там что-то интересное, на более открытых местах отставал от группы, а потом вообще и раньше всех начал просить устроить привал, хотя до этого никогда не жаловался на усталость.

На привале, организованном раньше, чем планировалось, именно из-за просьб Николая-старшего, спутники бросали на него то снисходительные, то укоризненные взгляды. А он в ответ лишь устало улыбался.

– Что-то ты не в форме сегодня! – посмеивался над Гумилевым Сверчков. Тот бормотал какие-то несвязные оправдания и будто бы старался вести себя аккуратнее, но особого успеха в этом так и не добился.

Зато когда экспедиция подошла к реке, через которую был натянут подвесной мост из лиан, Гумилев заметно оживился и принялся уговаривать остальных, чтобы ему дали пройти по мосту первым. Путешественники согласились на это с явной неохотой и, когда Николай оказался на середине моста, начали жалеть о своей уступке. Вместо того чтобы поскорее перебраться на другой берег, молодой человек остановился на мосту, глядя вниз, и, казалось, забыл обо всем на свете.

Под мостом действительно было на что посмотреть. Не слишком широкая река протекала в довольно глубоком ущелье с крутыми склонами. Бурный поток нес широкие листья и яркие лепестки тропических цветов, они закручивались в водоворотах и исчезали в шапках пены вокруг выступающих из воды камней.

– Потрясающе! – восхищенно воскликнул Гумилев, наклоняясь через поручни и прищуривая глаза, чтобы как следует рассмотреть бушующую внизу стихию.

– Коля! Николай Степанович! – возмущенно закричали на него остальные исследователи. – Давайте скорее, мост же не прочный, еще оборвется!

– Да не оборвется, не бойтесь! – повернулся Гумилев и, словно желая доказать своим спутникам безопасность моста, несколько раз подпрыгнул, держась за выполнявшие роль поручней лианы. Мост заплясал над ущельем, едва не сбросив неосторожного путешественника в реку.

– Дядя! – в панике завопил Николай-младший и рванулся на мост. Другие исследователи тоже закричали, ругая своего неосторожного спутника последними словами. Кто-то назвал его сумасшедшим, кто-то пожелал упасть в реку и стать обедом для крокодилов, кто-то просто вспомнил все крепкие ругательства, какие знал…

– Все, все, успокойтесь! – рассмеялся в ответ Гумилев и зашагал по мосту дальше, стараясь при этом раскачать его еще сильнее.

Вслед ему продолжали нестись возмущенные крики, но он не обращал на них внимания. Последние несколько шагов до берега Николай преодолел вприпрыжку, но мост выдержал и это – путешественник благополучно перескочил с него на землю и, повернувшись к наблюдающим за ним товарищам, весело замахал им руками:

– Идите сюда, мост крепкий, не упадете!

Продолжая ругаться вполголоса, по мосту двинулись все остальные. Гумилев ждал их, отойдя в тень раскидистого и обвитого лианами дерева, и на его лице застыла хитрая удовлетворенная улыбка…

Глава XIII Украина, Киев, 1910 г.

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

А. Ахматова

Анна спала так крепко, что не услышала, как Николай встал с постели и, подойдя к окну, отодвинул светлую занавеску. Хотя он не пытался вести себя тихо, даже наоборот – надеялся, что она проснется, и они заговорят о чем-нибудь несерьезном и веселом. Хоть о состоявшейся вчера свадьбе, хоть о будущих визитах к их общим знакомым… Да о чем угодно, лишь бы он мог отвлечься от своих теперешних совсем не праздничных мыслей!

Но Анна спала и даже не шелохнулась, когда он двигался по комнате. Ее темные волосы свесились с края высокой подушки, изящная рука бессильно лежала поверх одеяла, глаза были закрыты, а длинные ресницы изредка чуть подрагивали – ей снился какой-то сон. Судя по тому, что она чуть заметно улыбалась, приятный…

Николай смотрел на нее и не мог отвести взгляд. Она была так красива, и растрепавшиеся волосы нисколько не мешали любоваться ею. Женщиной, которую он любил много лет, почти отчаялся добиться и которая все-таки стала его женой. Женщиной, любившей до него кого-то другого.

Слухи об этом доходили до Гумилева и раньше, до того, как они стали мужем и женой, в те далекие годы, когда у него была лишь слабая надежда, что когда-нибудь это произойдет. Николай не верил им, не хотел даже слышать ни о чем подобном и уверял себя, что это всего лишь грязные сплетни, не имеющие никакого отношения к действительности. И вот теперь ему стало ясно, что сплетники говорили правду…

Эту правду нужно было как можно скорее выкинуть из головы, пока Анна не проснулась и не поняла по его лицу, что с ним что-то не так. Меньше всего на свете ему хотелось показать ей, что теперь, когда самая большая его мечта сбылась, он снова не чувствует себя счастливым. Но как скрыть от женщины, только

что ставшей его законной супругой, свое разочарование? Она слишком хорошо его знает, хотя, в то же время, вряд ли сможет понять, чем он недоволен.

Николай все еще мучительно пытался решить, как теперь ему вести себя с женой, когда Анна внезапно открыла глаза. В первый момент она сощурилась от льющегося из окна яркого солнечного света и совсем по-детски улыбнулась, а потом, моргнув несколько раз, увидела Николая и сонным голосом спросила:

– Ты уже встал?

– Да, встал, только что… – неуверенно пробормотал Николай. – Как тебе спалось?

– Замечательно! – Анна приподнялась на кровати, потянулась и снова откинулась на подушку. Николай продолжал смотреть на нее, едва сдерживая панику. Он не мог отвести взгляд от молодой жены и не мог скрыть от нее свое смятение.

– Что-то не так? – удивленно спросила Анна. – Ты чем-то расстроен?

– Нет, что ты! – с трудом выдавил из себя Гумилев и подошел к ней. – Я счастлив, очень счастлив. Просто еще не привык к этому счастью, наверное… – Он наклонился, поцеловал протянутую Анной руку и, поспешно выходя из спальни, добавил: – Пойду распоряжусь о завтраке.

Вскоре они сидели за столом друг напротив друга с салфетками в руках и ждали, когда им подадут еду. Николай улыбался Анне, но в душе его по-прежнему боролись самые противоречивые чувства. «Вот сидим мы, завтракаем, как примерные супруги, как бывает во всех семьях… – думал он со всевозрастающей досадой. – Мне только не хватает газеты, чтобы читать новости и обсуждать их с Аней. Может, когда-нибудь мы будем и с газетами завтракать, и обсуждать хозяйственные дела… Но все равно я так же буду думать о том, что до меня Аня любила кого-то другого…»

Николай продолжал молчать и только смотрел на свою молодую жену напряженным взглядом. А когда она замечала это и в ее глазах возникал немой вопрос «Что случилось?», улыбался и усиленно делал вид, что все хорошо.

Анна поддерживала его игру, притворяясь, что ничего странного действительно не происходит. После завтрака молодые супруги пошли гулять и до обеда бродили по улицам почти в полном молчании. Только время от времени они перебрасывались ничего не значащими фразами, натянуто улыбались друг другу, а потом снова начинали смотреть в разные стороны, делая вид, что думают о чем-то своем. Изредка Анна поглядывала на мужа и, видя на его лице все то же старательно скрываемое напряжение,

пыталась понять, чем же он так расстроен. Тем, что их свадьба была скромной и не слишком веселой? Тем, что никто из их родственников так и не приехал на венчание, несмотря на ее приглашения? А может, он снова тоскует о недавно умершем отце? Но Николай вчера несколько раз повторил, что ему все понравилось и он был очень рад, а обид на родных, не захотевших пожелать им счастья, у него нет. Уверял Анну, что и ее, и его родственники обязательно потом одумаются и признают их брак, а потом они окончательно помирятся и будут часто бывать в гостях друг у друга. Но Анна точно знала, что ничего подобного в их жизни никогда не будет. Ее родители уверены, что они с Николаем не проживут вместе и года, – и не изменят своего мнения, даже если они проживут, не расставаясь, до глубокой старости. Все равно и мать, и отец каждый день ждали бы, что Анна объявит им о своем разводе. По всей видимости, мать и старшая сестра Николая точно так же относились к их браку. И Николай не мог не понимать этого…

Уверив себя в том, что причина плохого настроения мужа в равнодушии близких, Анна стала придумывать, как вернуть ему веселое расположение духа, но ей так ничего и не пришло в голову. Молодые супруги вернулись домой и сели обедать. Николай по-прежнему был мрачен и казался погруженным в свои мысли, Анна, отчаявшись помочь ему, старалась просто не обращать внимания на его несчастный вид. Но после того, как все было съедено, и она поднялась из-за стола, Гумилев внезапно улыбнулся, протянул ей руку и как-то неуверенно сказал:

– Аня, я тут думал о нашем разговоре про Париж – помнишь?

– Да, конечно, – настороженно ответила Анна, не зная, чего ей теперь ждать от мрачного и словно бы за что-то обиженного на нее мужа. Уж не собирается ли он отменить запланированную поездку? Или уехать в очередную экспедицию, снова оставив ее одну, как уехал после данного ею согласия выйти за него замуж? Это было бы очень в его характере!

– Как ты смотришь на то, чтобы поехать в Париж прямо сейчас?

Анна, приготовившаяся услышать совершенно другое, в изумлении вскинула брови:

– То есть как – сейчас?

– Ну, не сию минуту, конечно, но, например, завтра. Или хотя бы через несколько дней – тебе ведь надо собраться? Сколько тебе потребуется на это времени?

– Я даже не знаю… – растерялась Анна. Мысль о том, чтобы собрать все необходимые вещи для поездки в другую страну за несколько дней, казалась ей абсурдной. Когда ее семья уезжала

на лето из Царского Села в Евпаторию или в Киев, они начинали готовиться к этому хотя бы за месяц, а то и раньше… Но Гумилев говорил о нескольких днях совершенно серьезным тоном!

– Хорошо, недели тебе хватит? – спросил он в ответ на ее нерешительное бормотание.

– Не уверена, – призналась наконец Анна. – Я ведь еще даже не думала о том, что с собой взять…

– Вот ведь женщины! – не удержавшись, рассмеялся Николай. – Знаешь, как я собирался в Египет три года назад?

– Знаю, ты мне столько раз рассказывал! – облегченно улыбнулась в ответ Анна. – Только я собраться за пару дней точно не смогу, так и знай! Ты же не хочешь, чтобы твоя жена гуляла по Парижу в таком виде, в каком ты бродил по Гизе?

Теперь они смеялись оба. Мрачное настроение Николая, так угнетавшее Анну все утро, как будто бы прошло, и она почувствовала, как к ней возвращается спокойствие. Вскоре молодые супруги уже вовсю обсуждали, что именно Анне взять с собой в свадебное путешествие и что Николай будет показывать ей в Париже.

– Эйфелева башня – прежде всего, – говорил он со знанием дела. – Ты слышала, наверное, что французы ее терпеть не могут и до сих пор ругают парижские власти, что те не разобрали ее, когда выставка закончилась. Но они в этом очень не правы! Можешь мне поверить, я там жил и сам ее видел! Она очень красива и очень хорошо смотрится на своем месте. Там как будто бы встречаются две эпохи – старинная и современная, встречаются прошлое и будущее. Впрочем, нет, мне этого не передать, да и не надо этого делать, лучше сама все увидишь и сразу поймешь, что я имел в виду!

– Кажется, я уже понимаю, – улыбалась ему Анна. – Но в Париже обязательно на нее посмотрю, раз ты так настаиваешь…

– Да, только лучше ею любоваться издалека, – предупредил Николай. – Вблизи видно, что башня немного ржавая. Она уже была такой, а сейчас наверняка еще сильнее поржавела. Старая все-таки уже…

– Старая?! – притворно рассердилась Анна. – Она вообще-то моя ровесница!

И вновь они оба смеялись. От утренней угрюмости Николая и неловкости Анны не осталось и следа. Они опять стали теми, кем были накануне, – молодыми мужем и женой, устремившимися друг к другу, несмотря на все препятствия, несмотря даже на то, что никто из близких не захотел благословить их брак. Но и Анна, и Николай перестали сожалеть об этом.

После обеда они еще раз пошли прогуляться и теперь не

умолкая спорили о том, как будут проводить медовый месяц. Николай строил планы, один грандиознее другого, и, казалось, собирался за этот месяц показать Анне не только всю Францию, но и все остальные европейские страны. Когда же Анна, лукаво улыбаясь, сказала мужу, что они не успеют объехать все места, которые ему хочется посетить, он в ответ лишь досадливо взмахнул рукой:

– Чтобы объехать все страны, где я хотел бы побывать, и показать тебе все, что я уже видел, мне жизни не хватит! Иначе я бы взял тебя не только в Европу, я бы поехал с тобой Абиссинию. Ты бы хотела там побывать, Анна?

– В Африке? – с сомнением покачала головой молодая женщина. – Не думаю… Пожалуй, нет.

– Ну что ты, я уверен, ты бы не отказалась от такого путешествия! – с жаром принялся разубеждать ее Гумилев. – И я думаю, мы еще сможем как-то это устроить. У меня наверняка будут еще задания… То есть музею понадобятся еще материалы, а меня, как человека, дважды там побывавшего, скорее всего назначат и в следующие экспедиции. Я, пожалуй, смог бы уговорить руководителей, чтобы они разрешили моей жене сопровождать меня. Они вряд ли будут против – сейчас экспедиции в Африку не настолько опасны, да и в самые дикие места не придется ехать… – Неожиданно Николай замолчал, и вид у него стал каким-то растерянным, словно он сказал что-то лишнее, чего не стоило говорить.

Анна смущенно поджала губы и мягко улыбнулась мужу:

– Не стоит беспокоиться, я вполне обойдусь без таких путешествий, честное слово!

Гумилев в ответ лишь беспомощно развел руками. Для него это было непостижимо – как можно добровольно отказаться от поездки в дальние незнакомые страны? Но потом он, как показалось Анне, решил, что она просто не понимает выпавшего ей счастья и когда-нибудь позже, ближе к делу, одумается, и они все-таки поедут в Африку вместе. Анна не стала его разубеждать, и разговор снова вернулся в мирное русло. Теперь Николай просто рассказывал о том, что видел в Абиссинии, но, поскольку большинство этих рассказов его молодая жена уже слышала, и даже не один раз, ей не составило труда сделать вид, что она внимательно слушает, а на самом деле размышлять о других, более важных для нее вещах – о двух задуманных еще перед свадьбой стихотворениях. Одно из них она успела начать записывать – в новой тетрадке уже появилось несколько строк. Второе пока существовало только в ее воображении в виде нескольких обрывков, и теперь Анна ждала удобного момента,

чтобы записать вертевшиеся у нее в голове строчки и посидеть над тетрадью, соединяя их в связный текст, подыскивая рифмы и удачные образы.

Вот только Николай все рассказывал и рассказывал, не собираясь останавливаться. С описания своих прошлых подвигов он перескакивал на планы будущих путешествий, на ходу изменяя их маршруты, и, судя по его все ярче разгорающимся глазам, мысленно уже пребывал в тех дальних странах, о которых говорил. Возможно, если бы Анна в тот момент достала свою тетрадь и занялась бы начатыми стихами, ее муж не обратил бы на это особого внимания и продолжил бы свой монолог. Однако молодая женщина не была уверена в этом до конца, поэтому молча ждала окончания разговора, боясь обидеть Николая своим невниманием. Поначалу ждала спокойно и терпеливо, но с каждой минутой ей становилось все скучнее и скучнее…

Замолчал Николай так же внезапно, как и начал болтать об Африке. Его лицо приняло задумчивое выражение, и он не сразу заметил устремленный на него вопросительный взгляд Анны.

– Подожди минутку, я сейчас посмотрю одну вещь… – чуть виновато проговорил он и подошел к стоявшему в углу столу, на краю которого возвышались неровной стопкой его книги. – Мне надо кое-что уточнить… кое-что об истоках Нила… Я тебе расскажу потом!

– Смотри, конечно! – радостно воскликнула Анна. Для нее окончание разговора с мужем означало, что теперь можно заняться стихами, что она наконец дождалась этой желанной минуты! Правда, уже в следующий момент молодая женщина смутилась, решив, что ее довольный возглас мог обидеть Николая, и посмотрела на него с осторожной улыбкой: – Расскажешь потом, что ты там обнаружил, мне очень интересно.

Гумилев как будто не заметил никакой фальши в ее словах. Наморщив лоб, он яростно листал одну из своих старых потрепанных книг, и вид у него снова был полностью отрешенный от реальности.

– Расскажу… конечно же… – пообещал он и, отложив книгу в сторону, начал разгребать такую же внушительную кипу старых карт.

Анна еще некоторое время смотрела на него, а затем, достав из саквояжа свою заветную тетрадку, уселась за стол с другой стороны и, придвинув к себе чернильницу, уткнулась в свои собственные записи.

Так, не сказав друг другу больше ни слова, они просидели за столом до позднего вечера, полностью погруженные каждый в свое дело. За окном начало темнеть, и Гумилев, оторвавшись от

карт, зажег свечу. Анна подняла голову и поблагодарила его торопливым кивком. А когда свеча догорела до конца и ее фитиль погас, утонув в лужице расплавленного воска, она, зевнув, предложила идти спать, на что Николай тоже только кивнул головой.

Оказавшись в кровати, оба заснули почти мгновенно. Первый день их семейной жизни закончился.

Глава XIV Франция, Париж, 1910 г.

Эта встреча никем не воспета,
И без песен печаль улеглась.
Наступило прохладное лето,
Словно новая жизнь началась.

А. Ахматова

Николай шел по знакомым парижским улицам, лучами расходящимся в разные стороны от круглых площадей, смотрел по сторонам и не мог поверить, что когда-то этот прекрасный город казался ему мрачным, холодным и недружелюбным к своим жителям. Неужели он действительно чувствовал себя здесь неуютно, когда учился в Сорбонне? Неужели ему не нравились эти старинные, помнящие, что было несколько веков назад, дома, и он был недоволен не гармонирующей с ними Эйфелевой башней?

Теперь все выглядело совсем иначе. Французская столица словно преобразилась, сделавшись самым солнечным, нарядным и жизнерадостным городом на земле. Парижане на улице шли легкой летящей походкой и улыбались, и Гумилеву казалось, что они улыбаются именно ему. Как будто и они, и весь их город были рады за него и не скрывали своей радости. Впрочем, Николая это не слишком удивляло. Ведь его держала под руку самая красивая, самая неординарная, самая лучшая в мире женщина, и эта женщина была его женой!..

Словно боясь поверить в это огромное счастье, Гумилев повернулся к Анне. Она была в Париже в первый раз и, несмотря на то что много слышала об этом городе от самого Николая, с интересом смотрела по сторонам. Ее глаза тоже светились радостью, но теперь в них не было того отрешенного выражения, которое в последнее время стало пугать Николая. Мысль о том, чтобы сочинять на ходу стихи, как будто бы пока не приходила ей в голову, несмотря на множество новых впечатлений. И Гумилев с радостью думал, что это только к лучшему.

– Ты не голодна? Может быть, зайдем в кафе? – предложил он Анне.

– Да, пожалуй… Давай зайдем, – пожала она плечами, задумчиво оглядываясь по сторонам.

Они прошли еще немного по улице, завернули за угол и стали высматривать кафе или уличный ресторанчик поуютнее и посимпатичнее. Несколько местечек, понравившихся Николаю,

Анна забраковала, заявив, что они выглядят недостаточно романтично. Гумилев не спорил – самому ему было все равно, где обедать, главное, чтобы его молодая супруга была при этом рядом. Но когда они немного удалились от Елисейских Полей и оказались на узкой, спрятавшейся в тени улочке, Анна вдруг оживилась и потянула мужа за руку к расположенной на углу маленькой и не слишком приметной кофейне:

– Вот, смотри, очаровательное местечко! Заглянем туда, хорошо?

– Для тебя – все, что угодно! – торжественно кивнул Николай. На его вкус, выбранная Анной кофейня ничем не отличалась от других подобных заведений Парижа. Обычный недорогой полуподвальчик, где подавали не особенно крепкий чай и кофе и не очень вкусные сладости. Но выполнить каприз жены он считал священным долгом. А кроме того, низкие цены в кофейнях тоже были важны: пока супруги Гумилевы не могли позволить себе дорогие рестораны.

Они спустились по крутым и основательно истертым ступенькам и оказались в крошечном, но весьма уютном помещении с низким, потемневшим от времени потолком. Николай даже обрадовался, что не стал спорить с женой и они зашли именно в эту кофейню. Не то чтобы внутри было очень красиво, но атмосфера в маленькой, уставленной столиками комнате оказалась на редкость романтичной.

Дверь за молодыми супругами захлопнулась, и они оказались в приятном полумраке. Окна закрывали плотные темно-синие шторы, не пропускавшие к сидящим внутри людям ни одного лучика дневного света. Как и во многих подобных кофейнях, в этой всегда царил вечер, независимо от того, светило ли на улице солнце или была глубокая ночь. Впрочем, о том, что до вечера еще далеко, можно было догадаться по небольшому количеству посетителей. Только возле витрины с аппетитными пирожными о чем-то разговаривали с официантом двое молодых людей, да еще в дальнем углу с задумчивым видом сидел темноволосый мужчина лет тридцати. Он обернулся на стук двери и бросил на вошедших Анну и Николая быстрый заинтересованный взгляд.

– Где сядем? – спросил Гумилев жену, и та, оглядев кофейню, решительно направилась в другой угол:

– Здесь! Это лучшее место, ведь правда?

– По-моему, здесь все места очень милые… – чуть снисходительно улыбнулся ей Николай. – Присаживайся, а я закажу обед!

Анна заняла место в самом углу и с радостью убедилась, что оттуда можно разглядывать всю кофейню, а сидеть на мягком

круглом стуле очень удобно. Николай подошел к официанту, но тот все еще обсуждал что-то с другими посетителями, и пришлось немного подождать.

Внутреннее убранство кофейни было скромным, но по-своему очень красивым. На стенах висело несколько картин, написанных в разной манере, – там были и загородные пейзажи, и уже знакомые Анне виды парижских улочек. «Здесь наверняка собираются молодые художники! – догадалась она. – Молодые, никому не известные и, соответственно, бедные. Должно быть, у некоторых иногда совсем нет денег, и им приходится расплачиваться своими картинами… Интересно было бы на них посмотреть!»

Теперь Анна жалела, что они с Николаем набрели на кофейню днем, а не под вечер. Скорее всего юные талантливые художники собирались в ней поздно и засиживались до утра. «Мы с Колей еще придем сюда как-нибудь вечером, – твердо решила она. – Обязательно придем и увидим местных художников. Может быть, даже познакомимся с кем-нибудь из них! А через много лет они станут знаменитыми на весь мир – и мы будем вспоминать, как разговаривали с ними, когда для них все только начиналось…»

Тут она случайно встретилась глазами с незнакомцем, сидевшим за столиком в противоположном углу, и обнаружила, что он смотрит на нее с немного нахальной улыбкой. Как видно, ее собственную мечтательную улыбку, адресованную придуманным Анной будущим знаменитостям, этот человек принял на свой счет. Засмущавшись, молодая женщина опустила глаза и принялась внимательно изучать тонкую скатерть из кремового шелка. Однако уже в следующую минуту снова подняла осторожно голову и торопливо скользнула взглядом по лицу дерзкого парижанина. К ее огромному облегчению, он теперь смотрел вовсе не в ее сторону. В руке у него был бокал с чем-то золотисто-коричневым, а взгляд незнакомца рассеянно блуждал по низкому потолку. «Это тоже художник!» – неожиданно догадалась Анна. Он выглядел именно так, как должны были, по ее представлению, выглядеть люди искусства, – заметно поношенный костюм, непослушные растрепанные волосы, пытливый загадочный взгляд… Эти взглядом он, казалось, внимательно изучал каждый предмет в кофейне, словно проверяя, достойна ли та или иная вещь быть изображенной на холсте? Точно так же изучал он и людей. В том числе, конечно же, и Анну.

Мысль об этом смутила молодую женщину, но в то же время еще больше усилила ее любопытство. Она снова украдкой посмотрела на таинственного посетителя. Он по-прежнему думал

о чем-то своем, и Анна уже не сомневалась, что он работает над замыслом очередной картины. Вот сейчас он посидит еще пару часов в кофейне, выпьет еще вина, обдумает все как следует, а потом отправится домой, в маленькую квартирку под самой крышей какого-нибудь старинного дома, и встанет перед чистым холстом. Постоит еще минуту и проведет по нему первую линию… Хотя нет, сначала ведь надо сделать эскизы, наброски! Он будет сидеть над листами бумаги до темноты, зачеркивать и отбрасывать в сторону неудачные рисунки, начинать снова. И, уже плохо видя при слабом свете маленькой свечки, наконец сделает эскиз, который ему понравится. А на холст его начнет переносить завтра, когда в его крошечной комнате снова станет светло…

Анна так ясно видела созданную ее воображением сцену, словно сама находилась в каморке художника и он работал над эскизами у нее на глазах. «А забавно будет, если на самом деле это вовсе не художник, а какой-нибудь мелкий служащий!» – мелькнула у нее мысль, но в это она не поверила. Незнакомец мог быть только художником, только творческим человеком, который свободно служит искусству, не чувствуя при этом вины и ни на кого не оглядываясь.

В следующем взгляде, который Анна бросила на незнакомца, можно было заметить легкую зависть. Потом она посмотрела на Николая, к тому времени уже делавшего заказ официанту, и с грустью опустила голову. Ей в отличие от французских художников, да и всех остальных творческих людей, свободно писать стихи уже не удастся.

Николай сказал официанту что-то еще и заспешил к столику Анны.

– Я заказал салат, гренки с кофе и взбитые сливки, ты не против? А потом вина выпьем, – предложил он.

Анна молча кивнула. Воспоминание об их с Николаем последнем разговоре о поэзии, случившемся незадолго до отъезда в Париж, заметно испортило ей настроение, и заботливость мужа показалась слишком навязчивой. Ей было все равно, что съесть, ее мысли были заняты гораздо более важным вопросом.

После свадьбы она несколько раз показывала мужу свои новые стихи – те, которые считала удачными. Николай читал их, задумчиво кивал головой и с вежливым видом возвращал тетрадь, иногда сопровождая все это легкой снисходительной улыбкой. Анна видела, что стихи ему не нравятся, хотя и не решалась прямо спросить мужа об этом. Однако ее желание поделиться с Николаем своими творениями с каждым разом становилось все слабее. Потом она и вовсе перестала рассказывать ему о новых

стихах. А еще через некоторое время вдруг заметила, что и писать их ей почему-то больше не хочется.

Если Гумилев и обратил внимание, что жена больше не достает из ящика свою исписанную тетрадку, то он долго не говорил об этом. Правда, ему и самому тогда было не до стихов – оба они готовились ехать во Францию и были заняты сборами в дорогу. Но накануне отъезда Николай, записав что-то в собственной тетради, неожиданно вспомнил и о том, что у его супруги было такое же любимое занятие.

– Тебе сейчас не до стихов? – спросил он понимающим тоном.

Анна, не готовая к подобному вопросу, растерянно развела руками:

– Да, как-то не до них в последнее время…

– Это и к лучшему, – согласился Николай, и Анне показалось, что он очень доволен ее ответом. – Ты ведь во многом талантлива, так что можешь не только стихами заниматься, но и чем-нибудь еще. Танцами, например, балетом – с твоей-то гибкостью!

Что ответить на это, Анна не знала. Слова мужа, на первый взгляд, прозвучали, как комплимент, и она не была уверена, что правильно поняла вложенный в них смысл. Но желание сочинять новые стихи у нее после этого пропало окончательно. Ни в дороге, ни после приезда в Париж она не написала ни строчки. Николай же, как ей казалось, был доволен таким положением вещей. И чем дальше, тем чаще Анне приходила в голову мысль, что он, может быть, прав, что его стихи лучше, талантливее, чем то, что сочиняла она, и что два поэта в одной семье – это слишком много. Она почти поверила в это, почти смирилась с тем, что больше никогда не будет писать… И вот теперь желание творить внезапно охватило ее с новой силой, стоило оказаться в романтичной кофейне и увидеть похожего на художника человека с загадочным взглядом.

– Что это за тип? – Гумилев тоже заметил странного посетителя кофейни и поглядывал на него с недоверием и досадой. – Если он еще раз на тебя так посмотрит, я с ним поговорю!

Анна с удивлением повернулась к «типу». Если он и смотрел на нее после того, как они случайно встретились взглядами, то она этого не замечала. Но Николай не стал бы возмущаться на пустом месте – значит, от него не укрылось что-то такое, чего она не увидела.

– О чем ты? – усмехнулась она, пожимая плечами.

– Только не говори, что ты ничего не замечаешь, – с подозрением буравил ее глазами Гумилев. – Он на тебя смотрит,

как… как я!

– Что за глупости? – с трудом сдерживая смешок, шепотом спросила Анна. – Ты, кажется, меня ревнуешь?

– Ревную, – подтвердил Николай. – На тебя и те двое уже поглядывали, – он кивнул в сторону двух других парней, занявших к тому времени столик у двери. – Похоже, в эту кофейню не принято приходить с женами…

Глядя на его обиженное, как у ребенка, лицо, Анна развеселилась еще больше.

– Успокойся, мы их видим в первый и последний раз, – сказала она все так же тихо. – Сейчас поедим и уйдем отсюда.

– Да, давай поедим скорее! – Гумилев заерзал на месте и стал искать глазами официанта. К его огромной радости, тот уже шел к их столику с уставленным посудой подносом.

Анна придвинула к себе блюдца с салатом и гренками, взяла крошечную чашку кофе и сделала маленький глоток. Торопиться ради того, чтобы угодить неожиданно ставшему ревнивым супругу, она не собиралась. Впрочем, чтобы не злить его еще больше, старалась все-таки не смотреть на вызвавшего гнев Николая незнакомца.

Еда в кофейне оказалась вкусной, а кофе и вовсе был выше всяких похвал, и на некоторое время молодая женщина забыла и о красавце-художнике, и о собственной тоске по поэзии. Сидящий рядом муж старался расправиться с едой как можно скорее и все так же нетерпеливо вертелся на стуле, поглядывая то на часы, то на показавшегося ему подозрительным посетителя кофейни. Анне стало ясно, что в это милое и уютное место они больше не придут: у Николая будут связаны с ним неприятные воспоминания, и ей не удастся уговорить его заглянуть сюда снова. Это опять привело ее в невеселое расположение духа, и она решила, что теперь стоит по возможности сильнее растянуть удовольствие от пребывания в кофейне. Остатки едва теплого кофе она допивала такими редкими и маленькими глотками, что это заняло у нее больше получаса. Николай к тому времени уже не вертелся на стуле. Он сидел неподвижно, как школьник, сложив руки перед собой на столе, и как будто считал секунды до того момента, когда они смогут уйти.

В кофейню вошли еще несколько мужчин. Они заняли два столика в третьем углу и принялись негромко о чем-то болтать. До Анны и Николая долетел их веселый и беззаботный смех. Скорее всего это тоже были художники или еще какие-нибудь творческие люди. Но присмотреться к ним Анна все равно бы уже не смогла: кофе был допит, и у нее больше не было никаких предлогов, чтобы продолжать сидеть за столиком.

– Расплатись и пойдем, – сказала она мужу, отставляя в сторону пустую чашку. Гумилев радостно вскочил и чуть ли не бегом заспешил к барной стойке.

Решив в последний раз посмотреть на так сильно привлекшего ее внимание загадочного мужчину, Анна вновь повернула голову в его сторону и вздрогнула от неожиданности: он тоже смотрел на нее, и они опять, во второй раз, встретились глазами. Только теперь таинственный незнакомец не спешил отвести проницательный взгляд, в котором Анна увидела и восхищение, и живейший интерес к своей персоне. В первый момент ей захотелось отвернуться, но что-то помешало это сделать, то ли еще сильнее возросшее желание познакомиться с парижским художником, то ли обида на ревнивого Николая…

Краем глаза она увидела, что супруг уже расплачивается с официантом. На лице его сияла довольная улыбка: он предвкушал, как уведет свою жену из заведения, где неизвестные нахалы позволяют себе слишком откровенно любоваться ее красотой. И эта нетерпеливая улыбка стала для уязвленной Анны последней каплей. Молодая женщина резко встала со стула и решительно направилась к столику рассердившего Николая незнакомца. «Раз мне все равно терпеть Колину ревность, буду терпеть ее за дело!» – думала она, огибая попавшийся ей на пути свободный столик.

Николай увидел, куда она идет, и метнулся к их столу – Анна заметила лишь быстро мелькнувшую справа тень, но даже не оглянулась. Мужчина, привлекший ее внимание, продолжал смотреть на нее во все глаза, и с каждым ее шагом его лицо становилось все более радостным. Анна заставила себя улыбнуться в ответ и с гордостью почувствовала, что улыбка у нее получилась уверенная и в меру загадочная – несмотря на то, что в душе она страшно волновалась и понятия не имела, как начать разговор с незнакомым человеком.

Но пути назад уже не было, и даже Николай не смог бы теперь остановить супругу, не скомпрометировав ее и себя. Незнакомец поднялся навстречу подошедшей к нему Анне и галантно отодвинул от столика один из свободных стульев.

– Прошу прощения, – сказала Анна по-французски, благодарно кивая ему. – Мы не представлены, но…

– Присаживайтесь, я очень рад с вами познакомиться, – ответил мужчина. Голос у него оказался низким и очень приятным, а французские слова он произносил с каким-то необычным акцентом.

– Вы тоже не парижанин? – задала Анна первый пришедший ей в голову вопрос и присела на предложенный стул.

– Да, я из Италии, – ответил ее собеседник. – Амедео Модильяни, к вашим услугам.

– А мы – из России, – ответила Анна, поворачиваясь к Николаю, который уже стоял рядом с ней и тоже вежливо улыбался ее новому знакомому, но при этом глаза его чуть ли не метали молнии.

– Николай Гумилев, – представился он. – Анна, моя жена.

– Очень приятно, присаживайтесь, – указал ему на стул итальянец.

– Скажите, пожалуйста, вы художник? – спросила его Анна, уже не сомневаясь, что услышит в ответ «да».

Глава XV Россия, Слепнево, 1911 г.

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.

А. Ахматова

В это лето жители деревни Слепнево почти забыли о том, что такое скука. В те дни, когда работы в поле и на огородах было немного, у них появились новые развлечения. Сначала – обсуждать вернувшегося в имение молодого барина Николая Степановича и особенно его жену. Несколько крестьянок, видевшие их приезд, наперебой рассказывали о ней, в красках расписывая, какой красивой и в то же время странной была юная супруга младшего сына Гумилевых. Говорили, что выглядит она совсем не русской, а какой-то «дикой иностранкой» и что у нее огромные глаза, которые «так и зыркают во все стороны». А еще что она совсем тощая и бледная, словно ее месяц не кормили, ветер подует – и она либо улетит, либо переломится пополам. И что носит она совсем странную одежду, длинную узкую юбку, в которой и пары шагов нормально не сделаешь, а бежать и вовсе невозможно – сразу же упадешь! Да еще сбоку на этой юбке – разрез до самого пояса, вот какое бесстыдство!

После таких описаний любопытная деревенская молодежь принялась под разными предлогами ездить к усадьбе Гумилевых и украдкой следить за ее хозяевами. Молодая супруга барина и в самом деле оказалась очень необычной женщиной. И дело было не только в ее странной, почти болезненной внешности, которую любопытные девушки описали довольно точно. Она еще и вела себя совершенно непонятным образом – то целыми днями сидела дома, не высовывая носа на улицу, то выходила гулять и бродила по опушке леса с таким выражением лица, словно не видела ничего вокруг. Но при этом стоило ей выйти из дома вместе с мужем или его родными, и она превращалась в самую обыкновенную молодую женщину – разговаривала с ними, смеялась, о чем-то спорила… И такие неожиданные изменения, происходящие с одним и тем же человеком, удивляли деревенских жителей особенно сильно.

Каких только предположений они не делали, обсуждая новую обитательницу имения Гумилевых! Некоторые подозревали, что она чем-то тяжело больна: «Ну, сами посудите, такими худющими

да бледными даже городские барышни не бывают!» Другие считали, что если новая барыня и больна, то душевно: «А с чего б ее иначе из дома не выпускали?!» Третьи предполагали, что она «в интересном положении», причем родить должна будет меньше, чем через девять месяцев после свадьбы, и поэтому все дни напролет в доме – чтобы сначала скрыть беременность, потом преждевременное рождение ребенка, а в «положенный» срок предъявить его всем, как только что появившегося на свет. Все эти сплетни передавались из одной избы в другую, обрастая самыми невероятными подробностями, однако через несколько недель оказалось, что действительность превосходит даже самые смелые предположения деревенских жителей. Хотя в главном они все-таки не ошиблись. Юная жена Николая Степановича и в самом деле была крайне необычной, а в чем-то и странной женщиной. Впрочем, не менее странно, с точки зрения крестьян, повел себя и ее молодой муж.

В один солнечный погожий день мимо одного из полей, где жители Слепнева и других деревень косили траву, с шумом, криками и веселыми песнями проехала украшенная цветами и зелеными ветками телега, в которой сидела большая компания в ярких пестрых платьях и с размалеванными цветной краской лицами. Поначалу крестьяне решили, что к ним при-ехал бродячий цирк. Такое развлечение было в их деревнях не слишком большой редкостью, но все же желающих под благовидным предлогом прервать работу и посмотреть на фокусников, скоморохов и акробатов набралось немало. Навстречу повозке выбежала целая толпа любопытных.

Один из приехавших циркачей, одетый в модный черный фрак и цилиндр, привстал на повозке и, оглядев столпившихся у дороги крестьян, попросил своего товарища, правящего лошадьми, остановиться.

– Здравствуйте, почтеннейшие! – крикнул он крестьянам и отвесил им низкий поклон. – Подскажите нам, Подобино – в той стороне? – махнул рукой он вперед.

Крестьяне дружно закивали головами, а одна из стоявших впереди девушек с любопытством спросила:

– Да, верно, Подобино – там! Вы туда выступать едете?

– Выступать, да! – подтвердили сидевшие в повозке мужчина и женщина, одетые в костюмы наездников.

– Ой, а вы можете… можете нам показать, как вы выступаете? – пискнула протиснувшаяся к телеге совсем юная девочка-подросток с горящими от восторга глазами. Крестьянки зашикали на нее, но мужчина в цилиндре весело подмигнул девочке:

– Отчего же не показать? Покажем!

Его спутники согласно закивали. Те из крестьян, кто поначалу не заинтересовался бродячими артистами, тоже отложили косы и приблизились к повозке – кто недовольно ворча, кто, наоборот, радуясь предлогу немного отдохнуть от работы. А в «цирке» тем временем началось веселое действо. Один из артистов, одетый в пестрый костюм клоуна, встал на край телеги и громким голосом запел частушки. Остальные принялись подпевать ему на разные голоса. Лица их были густо напудрены мукой и походили на белые маски. Но некоторым крестьянам предводитель «циркачей» и одна из одетых в балетное платье девушек казались смутно знакомыми. Это заинтересовало их больше, чем само выступление фальшивых артистов, и они стали внимательнее приглядываться ко всей бродячей труппе. Было их в повозке десять человек, восемь мужчин и две женщины. Одна из них – та самая, одетая балериной и показавшаяся знакомой некоторым косцам, – особенно привлекала их взгляды. Она была самой странной: пока ее товарищи громко пели, эта девушка просто стояла рядом с ними и подпевала остальным так тихо, что ее голос терялся среди прочего шума. Но любопытные зрители не сомневались: эта женщина приехала к ним не просто так. Она, без всякого сомнения, еще удивит их чем-нибудь необычным!

Но пока развлекали обитателей деревни другие «циркачи». Частушки становились все более веселыми и фривольными, и слушающие их крестьяне, да и сами исполнители все громче смеялись после каждой из них. Наконец, когда смех стал совсем уж громоподобным, а лица молодых девушек в толпе – совсем красными, предводитель артистов взмахнул рукой, призывая всех к тишине. Зрители уставились на него выжидающими взглядами.

– А теперь мы продемонстрируем почтеннейшей публике чудеса человеческой ловкости и грации! – крикнул он звонким голосом. – Перед вами выступят лучшие наездники Петербургской губернии!

С этими словами он спрыгнул с повозки, подбежал к одной из впряженных в повозку лошадей и принялся освобождать ее от сбруи. Другой «артист» последовал его примеру и отвязал второго коня, и через минуту они оба уже были в седле и гарцевали вокруг толпы, приветственно размахивая руками. Сделав медленный круг, они пустили лошадей рысью и еще раз объехали вертящих головами, чтобы не потерять их из виду, крестьян. Проскакав так еще один кружок, всадники отъехали чуть дальше от зрителей и пустили коней галопом. Артист в цилиндре вырвался вперед, съехал с дороги и заставил свою лошадь перепрыгнуть через трухлявый, полуразвалившийся от старости,

но довольно высокий пень. Толпа восхищенно ахнула. Второй наездник не решился брать такой серьезный барьер и выбрал препятствие пониже – лежащий у обочины камень. Но и его конь прыгнул очень легко и красиво, вызвав у зрителей новые испуганные и восторженные возгласы. Кто-то захлопал в ладоши, и все остальные тут же последовали его примеру.

Всадники проскакали немного по дороге, потом развернулись и так же, галопом, помчались обратно. Приблизившись к пню и камню, они снова перемахнули через них, подняв тучу пыли. Теперь им аплодировали уже не только жители деревни, но и сидевшие в повозке остальные «артисты». И только балерина смотрела на всадников не с восторгом, а с тщательно скрываемым испугом во взгляде. Руки ее при этом тоже хлопали в ладоши, но казалось, она делает это неосознанно, думая вовсе не о том, чтобы поддержать наездников.

Проскакав мимо повозки и столпившихся рядом с ней зрителей, перемахнув через препятствия еще несколько раз, наездники остановились и спрыгнули с лошадей под новый взрыв аплодисментов. Девушка облегченно вздохнула и на мгновение закрыла глаза. А на коней уже забиралась другая пара всадников – вторая циркачка и еще один из мужчин. Они проделали те же самые трюки, что и первые наездники, причем женщина еще и громко взвизгивала после каждого прыжка через пень или камень.

Затем «главный артист» снова взобрался на повозку, повернулся к улыбающимся крестьянам и, театральным жестом взмахивая руками, провозгласил:

– А теперь почтеннейшая публика увидит еще более невероятные чудеса! Увидит гимнастов, умеющих ходить по проволоке и танцевать на ней под куполом цирка! Ну, то есть, – чуть смутился он, поглядев на качающиеся над головой ветки берез, – не под куполом, а под сводом небесным, вот!

Другие артисты сдержанно захихикали, и даже на лице юной танцовщицы появилась легкая лукавая улыбка. А «главный» быстро вернул себе самоуверенный вид и махнул коллегам рукой:

– Начинаем!

«Проволока», на которой бродячие артисты, по словам своего предводителя, должны были танцевать, оказалась весьма толстым канатом, лежавшим на телеге среди каких-то ящиков и картонок. Но крестьяне были непривередливыми зрителями и не стали цепляться к словам. Они с жадным интересом следили, как их неожиданные гости натягивают канат между двумя березами на высоте чуть ниже человеческого роста, и даже не думали смеяться из-за того, что в настоящем цирке гимнасты показывают свою ловкость на гораздо большей высоте. А когда на привязанный к

деревьям канат подсадили одного из «циркачей», и он, покачиваясь из стороны в сторону, сделал по нему несколько шагов, зрители и вовсе затаили дыхание. Пусть высота была не очень большой, пусть падение с каната ничем не грозило эквилибристу, но все-таки он проделывал то, на что никто из них не был способен!

Канатоходец прошел от одной березы к другой, пару раз взмахнув руками, удерживая равновесие, и ловко спрыгнул на землю. Все вокруг снова зааплодировали, гимнаст раскланялся перед публикой, и на канат забрался еще один член труппы. Он держался над землей еще более уверенно и шел гораздо быстрее своего предшественника. Пройдя от одной березы до другой, ловко развернулся и так же проворно зашагал назад. Лишь один раз его качнуло влево, но он плавно взмахнул широко расставленными руками и снова выпрямился, не замедляя шага. Вернувшись к началу своего пути, так же легко спрыгнул вниз и поднял руки над головой в приветственном жесте.

Зрители ликовали. Когда на канат влез «главный артист» собственной персоной, они сразу захлопали в ладоши, уже догадываясь, что его выступление будет еще более сложным, чем предыдущие. И он не обманул их ожиданий! По канату этот веселый улыбчивый человек не шел, а бежал – быстро, ловко, без всяких усилий сохраняя равновесие. Несколько раз пробежав так то в одну, то в другую сторону и сорвав самые громкие аплодисменты, молодой человек соскочил на землю и прошелся перед зрителями «колесом», потеряв свой цилиндр, до этого безупречно сидевший у него на голове. Его примеру тут же последовали еще два его товарища, а затем все трое обошли вокруг ликующей толпы на руках. Правда, хлопали им уже меньше. Все больше крестьян начинали с любопытством и нетерпением поглядывать на единственную не показавшую им ни одного трюка артистку. Чем дальше, тем сильнее крепла их уверенность, что «циркачка» приехала с остальными гимнастами не просто так и что ее выступление отложили на самый конец тоже неспроста. Ведь последний номер обычно бывает самым необычным и интересным! И их ожидания оправдались.

Сделав очередное «колесо», «главный» вскочил на ноги, выпрямился и вновь обратился к публике:

– А теперь, дамы и господа… в смысле, дорогие зрители, вы увидите невероятную, единственную в своем роде, уникальную артистку! Гордость нашего цирка – женщину-змею!!!

Зрители удивленно переглянулись, а скромно стоявшая на одном месте балерина вдруг словно преобразилась. Она повернулась к толпе, выпрямилась, расправила плечи и как будто

бы даже стала немного выше. А потом приподнялась на цыпочки, вытянула руки над головой и стала слегка раскачиваться из стороны в сторону, действительно став похожей на вставшую на хвост и что-то высматривающую змею. Кто-то из крестьян захихикал, однако большинство смотрели на странную женщину с изумлением и даже некоторым испугом.

Она тоже не обманула их ожиданий. Постояв немного с поднятыми вверх руками и словно бы войдя окончательно в роль змеи, медленно и плавно повернулась на месте, а потом, так же плавно, вдруг стала поднимать правую ногу. Она поднимала ее все выше и выше и в конце концов вытянула ее вертикально вверх, продолжая при этом улыбаться зрителям. Те следили за ее движениями, почти не дыша, и, когда «женщина-змея» замерла на одной ноге, все дружно ахнули от восхищения. Постояв так несколько секунд, она плавно опустила ногу и стала изгибаться назад – все сильнее, пока ее ладони не коснулись земли. Еще пара мгновений – и «женщина-змея» протянула одну руку предводителю артистов. Тот сжал ее своей рукой, и она все с той же непринужденной легкостью выпрямилась и, улыбнувшись, помахала зрителям.

А затем перед онемевшими от восторга деревенскими жителями начало происходить нечто совсем невероятное. «Женщина-змея» изгибалась то в одну, то в другую сторону, складывалась пополам и снова выпрямлялась, извивалась и принимала совершенно немыслимые для человека позы, разве что не завязывалась в узел! Ее длинные темные волосы порой касались земли, а легкое, почти невесомое шелковое платье развевалось, как флаг на ветру. Каждое движение было плавным и действительно «змеиным» – многим зрителям доводилось хотя бы раз встретить в лесу ужа или гадюку, и теперь, глядя на выступающую перед ними артистку, они испуганно таращили глаза, вспоминая те встречи. Гадюки и ужи извивались так же плавно и грациозно, так же завораживающе, как и эта юная темноволосая женщина. В ее осанке и выражении лица, в каждом ее жесте и взгляде таились такие же гордость и достоинство. А еще в ней была такая же опасность, как в ядовитых змеях. Она пугала, хотя зрители вряд ли смогли бы объяснить, почему, глядя на нее, чувствуют страх.

– Срамота-то какая… – сердито бормотали уже немолодые крестьянки, когда акробатка поднимала ноги выше головы, но глаза у них все равно светились восхищением.

А гибкая «женщина-змея» извивалась все сильнее и с каждым движением делалась все больше похожей на настоящую змею. Под конец ее номера некоторые особенно впечатлительные

зрители уже вовсю крестились, подозревая, что перед ними выступает не обычная женщина, а какая-то опасная «нечистая сила». Гимнастка видела это, и хотя на ее лице сохранялась спокойная легкая улыбка, в глазах с каждой минутой все ярче вспыхивали озорные искорки.

В конце концов она снова откинулась назад и тоже сделала «колесо», после чего, встав на ноги, низко поклонилась публике и резко выпрямилась. Зрители завизжали и захлопали в ладоши так громко, что в первый момент заглушили слова предводителя, объявившего об окончании представления. Потом все «циркачи» раскланялись еще раз, а один из рослых бородатых крестьян, перекрикивая продолжавших шуметь товарищей, объявил:

– У кого с собой медяки есть? Складывайте в шапку! Заплатим артистам, сколько можем!

С этими словами он снял с головы картуз, опустил в него найденный в кармане пятак и протянул стоявшим рядом с ним молодым парням. Те тоже принялись рыться в карманах, а из-за спины хозяина шапки высунулась чья-то рука, высыпавшая в нее целую горсть мелких монет. Другие зрители уже тоже старательно шарили в карманах и развязывали пояса в поисках денег.

«Циркачи» переглянулись. Теперь их лица почему-то приняли смущенное выражение, и предводитель, снова повернувшись к публике, вдруг решительно замахал руками:

– Нет-нет, что вы, не надо нам никакой платы! Мы выступили просто так! Из любви к великому цирковому искусству! Чтобы навык не потерять, вот!

Крестьяне уставились на артистов широко распахнутыми глазами. Отказ от денег удивил их едва ли не сильнее, чем все трюки на лошадях и на канате и способность «женщины-змеи» изгибаться в любом направлении. Но артисты уже торопливо запрягали своих лошадей и отвязывали от деревьев канат.

– Спасибо вам, почтеннейшая публика! – прокричал «главный», запрыгивая в телегу. – Счастливо оставаться! Удачного покоса!!

Его коллеги тоже забрались в повозку, один из них натянул вожжи, и вся компания, не давая крестьянам опомниться, быстро уехала, оставив после себя только облако дорожной пыли. Те некоторое время смотрели им вслед, а потом, вздохнув и рассовав обратно по карманам свои медяки, зашагали обратно в поле.

А компания артистов в это время неслась по дороге, заливаясь веселым хохотом.

– Ну, ты, Коля, даешь! Они ведь тебе поверили! Они решили, что мы действительно бродячий цирк! – давясь от смеха, хлопал

предводителя по спине один из них.

– А с чего бы им думать иначе? Мы что – плохо на конях скачем и на канате пляшем? – фыркал другой. – Да не хуже, чем стихи сочиняем!

– Смотря какие стихи… – посмеивался глава артистов. – Взять некоторые – так пляшем мы даже лучше!

Мужчины и девушка-наездница снова расхохотались. А их спутница в балетном платье, как и раньше, выразила свои эмоции сдержанной улыбкой. Предводитель артистов встретился с ней взглядом и, став серьезным, настороженно спросил:

– Аня, ну а ты довольна? Тебе понравилось? По-моему, твое выступление было лучшим, они все с таким восторгом на тебя смотрели! Я даже ревновать собирался!

– Опять ревновать? – притворно закатила глаза молодая женщина. – Господи, ты неисправим!

– Это потому, что ты – прекрасна! – не сдавался Николай. – Да, я это много раз уже говорил и все равно буду говорить! Ты удивительная! И тебе действительно надо не стихи писать, а идти в балерины, в танцовщицы, с такой-то гибкостью!

– Да ладно тебе, не обижай жену, стихи у нее тоже чудесные! – наперебой заспорили его друзья. – Жаль, что ты, Аня, сегодня не прочитала стихотворение про змею!

Молодая женщина вежливо улыбнулась своим заступникам, но не сказала ни слова. Вскоре ее спутники уже с воодушевлением болтали о других вещах: о том, кому еще можно было бы показать их «цирковые выступления» и какие новые трюки они могли бы включить в программу. А «женщина-змея» по-прежнему молчала, задумчиво глядя назад, на остающиеся у них за спиной поля и пышные деревья. Только взгляд у нее при этом был таким отрешенным, словно видела она вовсе не знакомый деревенский пейзаж, а что-то иное.

Так и было на самом деле. Анна видела оставшееся в прошлом свадебное путешествие, Париж и художника Модильяни. Первого в ее жизни человека, который не только не был против того, чтобы она писала, наоборот, всеми силами убеждал ее не бросать это занятие. Единственного человека, который любил ее стихи, хотя и не понимал языка, на котором они были написаны…

Анна прикрыла глаза и в последний раз заставила себя во всех подробностях вспомнить Париж со всеми его узкими улочками, старинными домами и уютными кофейнями. Вспомнила мастерскую Амедео и все сделанные его рукой рисунки, на которых он изобразил ее, вспомнила ревность Николая и его бесконечные требования уехать домой, в Россию, вспомнила свои колебания и принятое в конце концов решение

остаться с мужем. А потом открыла глаза и стала смотреть вперед – на пыльную дорогу, в конце которой ее ждал их с Николаем дом и долгая жизнь без поэзии.

Ее лицо оставалось спокойным и даже как будто радостным. Только глаза были слишком влажными и блестели чересчур ярко, но спутники Анны, занятые придумыванием новых развлечений, не видели этого.

Глава XVI Россия, Санкт-Петербург, 1911 г.

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети…

А. Ахматова

За окном лил вечный петербургский дождь и летали мокрые желтые листья. На улице было холодно, мокро и неуютно, там с каждой минутой росли глубокие лужи, и с каждым порывом ветра покрывалась рябью черная вода в Фонтанке. Одним словом, в полном разгаре обычная для столицы осень. И хотя собравшиеся в комнате несколько молодых мужчин и женщин давно привыкли к такой погоде и даже научились не слишком грустить в такое время, всем им было очень приятно думать о том, что ливень и ветер бушуют за прочной каменной стеной, а сами они сидят в теплой и уютной комнате. А когда хозяин квартиры Сергей Городецкий задвинул шторы, окончательно отгородившись от внешнего мира, и зажег расставленные на столе и каминной полке свечи, чувство уюта особенно усилилось.

– Ну, рассаживайтесь! – широким жестом указал гостям на диван и кресла хозяин.

Те переглянулись, взглядами спрашивая друг у друга, кто какое место хочет занять. Николай Гумилев предложил жене Анне занять одну из половинок дивана, но она молча покачала головой и, присев на краешек кресла, стоявшего напротив, положила перед собой на стол стопку бумаги. Вид у нее при этом был крайне серьезный. Секретарю только что созданного литературного общества полагалось каждую минуту быть наготове, чтобы записывать все важные высказывания присутствующих. А делать это, сидя с мужем в обнимку на диване, было бы весьма неудобно.

Николай чуть заметно улыбнулся и, решив поддержать игру, придал своему лицу такое же сосредоточенное выражение и придвинул поближе к Анне чернильницу и одну из свечей. Глаза молодой женщины потеплели, и Гумилеву вдруг тоже стало радостно. Их маленькое собрание в темной комнате при свечах выглядело таким таинственным и романтичным, было так похоже

на заседание каких-нибудь заговорщиков прошлого! «И ведь в каком-то смысле так оно и есть! – неожиданно понял Николай. – У нас тут тоже заговор, тоже создается тайное общество. Заговор против старой поэзии, который свергнет все ее ограничения и даст одаренным людям настоящую свободу!»

– Не стесняйтесь, садитесь, мы же здесь все свои! – с легким нетерпением в голосе подгонял хозяин остальных приглашенных. Рядом с Гумилевым на диван опустился Александр Блок. Он тоже слегка улыбался, поглядывая то на сосредоточенную Анну, то на нетерпеливо потирающего руки Городецкого, и Николай мог поклясться, что ему их тщательно подготовленное собрание кажется детской игрой. Захватывающей, интересной, но игрой, цель которой всего лишь в том, чтобы потешить их самолюбие, дать иллюзию того, что их деятельность важна. «Что ж, пусть думает так, – усмехнулся про себя Гумилев. – Время покажет, кто из нас прав».

Должно быть, в его взгляде тоже ясно промелькнула эта мысль, и Блок, догадавшись, о чем подумал его сосед, незаметно улыбнулся, на этом их безмолвный обмен насмешками окончился. Все остальные гости Городецкого заняли свои места. Плюхнулся на диван с другой стороны от Блока Осип Мандельштам. Он поглядывал на собратьев по перу с интересом, но без особого нетерпения. Должно быть, его мысли больше занимала начавшаяся недавно учеба в университете, куда он так стремился поступить, а не предстоящее обсуждение современной поэзии. Насколько Гумилев успел узнать Осипа за то недолгое время, что они были знакомы, этот человек с легкостью мог думать о нескольких разных вещах одновременно.

Елизавета Кузьмина-Караваева выбрала себе место напротив Блока, но при этом старательно смотрела в сторону, словно боясь даже случайно встретиться с ним глазами. Неужели их давняя ссора все еще давала о себе знать? Гумилев бросил на Елизавету любопытный взгляд, но сразу же заставил себя отвести его. Личные дела друзей-литераторов его не касались, главное, что все они заинтересовались их с Сергеем идеей и пришли на собрание. И жаль, что не смог приехать супруг Елизаветы: грамотный юрист был бы им очень полезен. Ну, да, может, его еще удастся зазвать на следующее заседание!

Владимир Нарбут и Михаил Кузмин тоже ждали начала заседания с тщательно скрываемым нетерпением. Первый поглядывал на Городецкого и Гумилева с надеждой, второй – с некоторой иронией. С мрачным видом сидел погруженный как всегда в какие-то свои невеселые мысли Владимир Пяст. В ожидании, пока все рассядутся, он с рассеянным видом перебирал

лежавшие на столе журналы. Покосившись на него, Анна смущенно отвела взгляд: среди прочих изданий там был и третий номер «Всеобщего журнала», и Пяст как раз раскрыл его на середине.

– Это ваши стихи? – спросил он, заметив смятение Анны и развернув к ней страницу с хорошо знакомым ей названием «Старый портрет».

– Мои, – кивнула молодая женщина.

– Красивый вы взяли псевдоним. Ахматова… – задумчиво произнес Мандельштам, заглядывая в журнал.

– Это фамилия моей прабабушки, – объяснила Анна, неуверенно посмотрев на Николая. Она знала, что это стихотворение, как и несколько других, предшествовавших ему, казалось ему неудачным, хотя он и пытался скрывать свое отношение к ее поэзии. Но в тот момент Гумилева больше занимала предстоящая беседа с друзьями.

Убедившись, что все расселись и готовы слушать, Городецкий опустился в кресло во главе стола и постучал по подлокотнику пером, привлекая всеобщее внимание.

– Дамы и господа, я еще раз хочу поприветствовать вас всех в этом доме! – торжественно произнес он.

Рука Анны с зажатым в ней пером замерла над чернильницей. Она готовилась записывать каждое слово предводителя собрания. Остальные приглашенные, потеряв остатки терпения, заерзали на своих местах. Старые, рассохшиеся кресла и диван громко заскрипели.

– Раз вы согласились сюда прийти, значит, вас как минимум заинтересовала наша с Николаем Степановичем идея, – продолжил Городецкий. – А некоторые из вас, я надеюсь, разделяют наши взгляды на поэзию. Или, может быть, разделят их позже. Если мы сумеем убедить их в нашей правоте.

Александр Блок, уже не скрываясь, громко хмыкнул. Анна и Елизавета наградили его укоризненными взглядами, Пяст и Нарбут недовольно поджали губы. Один Гумилев полностью сохранял спокойный и невозмутимый вид. Анна, заметив это, уважительно кивнула, и Николаю стало немного стыдно. Он-то знал, что на самом деле ему не потребовалось никаких усилий, чтобы сохранить спокойствие. Никаких обид на Блока за то, что он так скептически отнесся к созданию их сообщества, молодой человек не испытывал. Скорее уж наоборот – он был рад, что в их тесной компании нашелся один человек, думающий иначе. Ведь с ним можно будет спорить, ему можно будет доказывать свою правоту – и это сделает их собрания намного более интересными! Да и полезными тоже, потому что, отстаивая свои взгляды, они

научатся особенно четко их формулировать. За это Блока следовало поблагодарить, а не обижаться на его недоверие!

– Ну, я думаю, Николай лучше меня сможет рассказать, для чего мы здесь собрались! – отвлек Гумилева от мыслей о Блоке голос Городецкого.

Николай прокашлялся и глубоко вздохнул. Пожалуй, собрание получалось каким-то излишне торжественным. Из-за этого их с Городецким речи могли показаться остальным фальшивыми, и Николаю оставалось только надеяться, что друзья поймут все правильно и не пожалеют о том, что приняли приглашение. Что ж, сам он сделает все, от него зависящее, чтобы этого не случилось…

– Наверное, вы думаете, что я и Сергей излишне высокого мнения о себе и о своих стихах, раз взяли на себя смелость рассуждать о поэзии и создавать новую литературную школу, – заговорил он, стараясь, чтобы в его речи не было вообще никакой патетики. – Но на самом деле это совершенно не так. Мы не считаем себя выдающимися и какими-то особенными, мы оба, так же, как и все вы, – самые обычные люди, которые просто не могут не писать стихов. Таких людей сейчас много. Мне иногда кажется, что в наше время не пишет только ленивый…

– Да, но вот только как они пишут… – пробормотала Кузьмина-Караваева и тут же, спохватившись, виновато развела руками. – Извините, что перебиваю вас, Николай!

– Ничего, – ободряюще улыбнулся ей Гумилев. – Вы очень кстати это сказали, дорогая Елизавета! Пишем мы все, мягко скажем, по-разному. И далеко не все создают настоящие стихи, у большинства получаются просто рифмованные строки, и хорошо, если грамотно рифмованные. Впрочем, вы все и так это знаете, а ругать плохих поэтов можно бесконечно!

Собравшиеся что-то одобрительное забормотали. На этот раз все голоса звучали в унисон. И Блок, и все прочие были согласны с Николаем в том, что пишут современные авторы далеко не идеально и что это крайне распространенное явление.

– Ну вот, вы меня понимаете! – обрадованно воскликнул Гумилев. – Но я считаю, что это вовсе не так страшно, как думают уважаемые Александр Александрович, – учтиво кивнул он сидящему рядом Блоку, – и Валерий Яковлевич Брюсов, который, возможно, когда-нибудь тоже посетит наше общество. Это не страшно, потому что, если молодой поэт пишет плохие стихи, это не означает, что у него нет поэтического дара и он обязан перестать писать. Это значит только, что он пока еще не умеет писать хорошие стихи. Но его можно этому научить!

По комнате снова пронесся тихий одобрительный шепот, и

только Блок снова фыркнул, давая понять, что с последними словами Николая он не согласится никогда. Но это мало беспокоило Гумилева. Он не ставил своей целью переубедить Блока – во всяком случае, понимал, что ему точно не удастся сделать это на первой же встрече их кружка. Главное сейчас другое – сделать так, чтобы все остальные поэты, которые достаточно охотно поддержали идею Николая, окончательно утвердились в его правоте. А с этим он должен был справиться. Елизавета, Михаил и два Владимира уже слышали от него все, что он думал о возможности научить поэта писать талантливые стихи, и ни у кого из них не нашлось возражений. Вот и теперь они слушали его со всевозрастающим интересом, время от времени согласно кивая.

Анна старательно записывала каждое его слово. Перо в ее руке быстро, но в то же время плавно двигалось над листом бумаги, оставляя на ней безукоризненно ровные строчки красивым почерком, хотя это и требовало от нее немалых усилий. Ей хотелось запечатлеть его речь на их первом собрании в самом лучшем виде. Николай хотел было улыбнуться жене и послать ей благодарный взгляд, но Анна смотрела только на бумагу, и он так и не смог встретиться с ней глазами. Но это не слишком расстроило поэта – он знал, что еще успеет поблагодарить супругу за такую заботу о нем. А пока ее сосредоточенность и бережное отношение к его словам лишь придали ему вдохновения.

– Мои слова могут показаться странными, – продолжал Николай, – но я прошу каждого из вас – вспомните свои первые стихи! Уверен, вы их помните, даже если это было в детстве! Я свои, например, помню очень хорошо. Цитировать их, правда, не буду, потому что они точно оскорбят ваш эстетический вкус. Но, надеюсь, никто не будет спорить с тем, что сейчас я пишу… ну, скажем так, несколько лучше?

Все присутствующие заулыбались. Анна оторвалась от записей и наконец подняла глаза на мужа. На ее лице тоже светилась теплая улыбка – она знала обо всех стихах Николая, в том числе и о самых первых срифмованных им строчках, и могла со всей ответственностью подтвердить, что он говорит правду.

– Думаю, каждый из вас тоже начинал с не слишком удачных стихотворений, – послав ей в ответ такую же улыбку, обвел взглядом всех сидящих за столом.

Гумилев и его друзья переглянулись, и на их лицах появились легкие усмешки. У Николая не было сомнений в том, что каждый из них в тот момент вспоминал свое первое стихотворение, как и в том, что ни один из присутствующих не процитирует эти стихи,

даже если очень сильно их об этом попросить. «Жаль, – пронеслась у него в голове мысль, – было бы очень интересно послушать, что они писали в детстве или в юности! Вдруг что-нибудь получше моей «поэмы» про Ниагару?»

– А теперь все вы пишете так, что вам невозможно не завидовать – поверьте, это не лесть, я говорю то, что действительно думаю! – уверил Николай собратьев по перу. – И это подтверждает мой вывод, что стихосложению можно научиться. Научиться самому и научить других.

Александр Блок снова скептически усмехнулся и поджал губы. Но Николай был благодарен ему уже за то, что он не возражал вслух и не приводил никаких аргументов, хотя они у него наверняка были! Но главный оппонент Николая молчал, давая ему высказать все свои соображения до конца.

– Ну а если это возможно, мы должны… помогать друг другу в такой учебе. И не только друг другу, но и тем нашим знакомым поэтам, которых здесь сейчас нет. И всем тем начинающим, кто сейчас пытается сочинить свое первое стихотворение, а потом, узнав о нашем кружке, захочет к нам присоединиться. Именно для этого мы с господином Городецким и пригласили вас сюда. Чтобы мы создали общество, которое займется таким обучением и где мы сами будем продолжать учиться. – Николай сделал еще одну паузу, снова обвел всех взглядом и улыбнулся: – Ну, так что, как вам эта идея?

– Николай, идея прекрасная! – тут же отозвалась Елизавета. – Я же сразу сказала, что согласна с ней! Помогать другим – это главное, это лучшее, что вообще может сделать любой человек. А мы, имеющие творческий дар, часто думаем только о себе, часто забываем о ближних… В общем, я тебя, Николай, и вас, Сергей Митрофанович, – обратилась она к Городецкому, – поддерживаю от всей души! И обязательно притащу сюда в следующий раз Дмитрия – если мы будем издавать журнал или сборники стихов, нам очень понадобится его помощь!

Мандельштам и Кузмин тоже выразили свое согласие, хоть и сделали это не так пылко, как Елизавета. Пяст и Нарбут выглядели менее уверенными, но после небольшой заминки оба тоже согласно кивнули. Николай с благодарностью улыбнулся каждому и повернулся к Блоку – единственному, кого он так и не сумел убедить в своей правоте:

– Александр, вы считаете, что я не прав? Что поэзии нельзя научить?

– Да, мне ваша мысль кажется… немного странной, – ответил Блок, с явным усилием подбирая слова, чтобы не обидеть никого из присутствующих. – Но мне нравится ваша решимость, так что –

пробуйте. Дерзайте.

– Ну вот, теперь можно смело начинать, сам Блок нас благословил! – улыбнулся Городецкий. Остальные поэты засмеялись, и только Кузьмина-Караваева укоризненно посмотрела на хозяина квартиры. Она не любила подобных шуток.

– Тогда у меня к вам следующий вопрос, – опять взял слово Николай. – Нам надо придумать для нашего объединения какое-то название. И поскольку мы собираемся не просто творить, а обучать друг друга, предлагаю назваться как можно скромнее. Не надо нам никаких «объединений» или «союзов» – это все очень пошло звучит. Раз поэзия – это ремесло, которому можно обучиться, то пусть у нас будет цех. Цех поэтов – что вы скажете о таком названии?

На этот раз Блок не сумел сдержать довольно громкий смешок. Однако все остальные, переглянувшись и немного подумав, согласились с Гумилевым.

– Очень хорошо звучит, правильно, – одобрил Пяст.

– И действительно скромно! – поддержала его Кузьмина-Караваева.

– Вам нравится? Никто против такого названия не возражает? – на всякий случай уточнил еще раз Городецкий.

Его гости дружно кивнули в ответ. Один лишь Блок, продолжая снисходительно улыбаться, заметил:

– Если у вас будет ремесленный цех, вам придется назначить кого-то мастерами, а кого-то – подмастерьями и учениками. А после того, как ученики пройдут курс обучения, им придется устраивать экзамены.

– Именно так мы и сделаем! – взволнованно произнес Гумилев. – И очень символично, что изделие, которое будущий мастер делал, чтобы выдержать экзамен, называлось шедевром. Вот так и наши ученики будут создавать шедевры – поэтические.

Блок закатил глаза и снова усмехнулся, но разубеждать друзей в их правоте не стал. За стеной послышалась негромкая возня, а потом звонкий детский голосок – проснулась маленькая дочь Городецкого.

– Я сейчас! – Сергей вскочил из-за стола и выбежал в соседнюю комнату, откуда теперь доносился почти такой же звонкий и веселый голос его жены. Теперь уже тепло заулыбались все участники собрания – и члены только что созданного литературного общества, и противник объединившей их идеи Александр Блок.

– Пока Сергей занят, предлагаю подумать вот о чем: у любого цеха должен быть руководитель – что-то вроде главного

мастера, – продолжил тем временем Гумилев. – Но если наш цех поэтов возглавит кто-то один, он может начать самодурствовать, злоупотреблять своей властью. Поэтому лучше выбрать хотя бы двоих или троих старших мастеров, тогда решения руководителей будут менее пристрастными.

– Хорошая мысль, – согласился Пяст.

– А не выйдет ли так, что эти двое или трое главных погрязнут в спорах о том, какое решение считать правильным? – лукаво прищурился Блок.

– Я думаю, этого мы не узнаем, пока не попробуем, – ответил Мандельштам, а все остальные наградили Блока почти яростными взглядами.

– Мы докажем вам, что были правы! – торжественно пообещал Владимир Нарбут.

– Доказать будет сложно: Александр Александрович все равно скажет, что стихи наших учеников плохие, и мы не сможем ничего ему возразить, – съязвил Кузмин. – Он на все наши аргументы ответит, что степень таланта стихов невозможно измерить.

– Но мы-то все равно будем знать, что произведения нашего цеха – лучшие! – с неожиданным жаром выступил против Блока Пяст.

– Дорогие друзья, вы только, пожалуйста, не ссорьтесь! – мягко попыталась урезонить спорщиков Елизавета. – Давайте лучше вот еще о чем поговорим: нам нужно придумать общее название для наших стихов. Сейчас, например, есть символизм, – она слегка поклонилась Блоку, – есть просто лирика, а что будет у нас?

– У нас будут просто хорошие стихи, нам никаких лишних терминов не надо, – покачал головой Михаил Кузмин. Но другие сторонники Гумилева тут же с жаром начали ему возражать:

– Так нельзя, у каждой литературной школы должно быть свое творческое направление! И ему необходимо как-то называться, чтобы эту школу можно было отличить от других!

– Хорошо, и что вы предлагаете? – развел руками Михаил.

– Я думаю, в этом названии тоже должна отражаться наша суть, – сказал вернувшийся в комнату Городецкий. – О чем будут наши стихи и стихи наших учеников?

– Да они могут быть о чем угодно! – усмехнулся Кузмин. – Лишь бы в них все было по-настоящему, с чувством, с душой. На пределе…

– Согласен! – поддержал его Городецкий. – Вот от этого нам и надо плясать. Надо придумать какое-то слово, которое обозначало бы предел чувств, остроту, что-то такое высшее…

– Да, и слово это хорошо бы взять из латинского языка. Или из греческого, – предложила Кузьмина-Караваева. – Для солидности.

– Отличная мысль, – обрадованно кивнул Городецкий. – Давайте думать, как у нас по-латыни или по-гречески «вершина» или «острие»?

Николай Гумилев молчал. Краем уха он слушал, о чем говорят его единомышленники, но взгляд его был прикован к лежащему перед Анной листу бумаги, на котором ее рука медленно, красивым, почти каллиграфическим почерком выводила название только что появившегося на свет поэтического объединения: «Цех поэтов».

Глава XVII Россия, Санкт-Петербург – Абиссиния, Харрар, 1913 г.

Между берегом буйного Красного моря
И Суданским таинственным лесом видна,
Разметавшись среди четырех плоскогорий,
С отдыхающей львицею схожа, страна.

Н. Гумилев

Комнату заливал яркий солнечный свет, за окном радостно щебетали птицы, а прохожие, обрадовавшиеся редкому для весеннего Петербурга теплу, были одеты почти по-летнему, но Николай трясся от холода и все плотнее заворачивался в толстое ватное одеяло. Нет, здесь, в России, он не сможет согреться, здесь все еще слишком сильный мороз! Ему надо в Африку, обязательно надо туда, там достаточно жарко, там он перестанет мерзнуть!

Лучи, прорвавшиеся в комнату сквозь окно, были слишком яркими. Они слепили глаза, даже когда Гумилев опускал веки. Он попробовал отвернуться к стене, но солнечный свет отражался от нее и все равно причинял его измученным глазам нестерпимую боль. Тогда Николай натянул на голову край одеяла. Стало душно, но глаза перестали болеть, и он решил, что лучше полежит немного так. Может быть, если он не будет высовываться из-под одеяла, ему даже удастся согреться?

Он с наслаждением закрыл глаза и попытался хоть чуть-чуть расслабиться. Дышать под одеялом становилось все труднее, голова сделалась еще более тяжелой, звуки с улицы, с трудом доносившиеся до него через толстый слой ваты, постепенно затихали… Вскоре Николаю уже казалось, что он находится не у себя дома, а медленно плывет в лодке по Нилу – как три года назад, во время своего второго путешествия в Африку. Или в трюме корабля, как это было в самый первый раз…

Какой-то громкий стук, почти грохот, вырвал Николая из спокойного сна, в который он уже начал проваливаться, и вернул его в реальность – в солнечный апрельский день накануне отъезда в Абиссинию. Гумилев открыл глаза, осторожно перевернулся на

другой бок и выглянул из-под одеяла. Перед ним стояла склонившаяся над его кроватью Анна. Звук, разбудивший его, был всего лишь легким стуком двери, когда она вошла в комнату.

– Коля, как ты? – заботливо спросила молодая женщина. На ее лице явно читались и беспокойство за него, и раздражение его упрямством.

– Ничего, – хриплым голосом отозвался Гумилев. – Не волнуйся, прошу тебя, мне уже лучше. Я сегодня высплюсь как следует и утром буду здоров. Вот увидишь!

Анна прижала руку к его лбу и сокрушенно покачала головой:

– Ты весь горишь. Отложи поездку, тебе нельзя никуда ехать в таком состоянии. Тебе даже с кровати вставать нельзя!

– Глупости, у меня уже были такие приступы, я знаю, что завтра все пройдет, – проворчал в ответ Николай и снова натянул на себя одеяло. – Дай мне выспаться, и все будет хорошо!

Ему показалось, что Анна что-то сказала в ответ, но он не расслышал ее слов. До него донесся лишь уже знакомый стук двери, и он понял, что жена вышла из комнаты. Поверила его словам или просто поняла, что спорить с ним бесполезно? Об этом Николай мог только догадываться. Утешало его лишь то, что он в общем-то сказал Анне правду. Это был далеко не первый приступ лихорадки, который ему пришлось пережить с тех пор, как он начал ездить в Африку, и длились эти приступы всегда только одну ночь. Утром жар у него действительно спадет. Проблема лишь в том, что на следующий день после болезни он всегда чувствовал ужасную слабость. И длилось это состояние в лучшем случае еще день или два. Так что утром ему стало бы не намного легче, и отправляться в путь в таком состоянии все равно довольно опасно. Но не мог же он сказать об этом Анне! Она снова стала бы убеждать его отложить отъезд, чтобы набраться сил, наверное, даже потребовала бы этого, но он никак не мог с этим согласиться, завтра утром он просто обязан выехать из столицы.

Оставалось одно – все-таки постараться заснуть и проспать как можно дольше. Если Анна не надумает снова разбудить его, чтобы отговорить от поездки, ему удастся хотя бы немного отдохнуть. «Только бы она не пришла, только бы не стала меня тормошить!» – это было последнее, о чем подумал Гумилев, погружаясь наконец в долгожданный сон.

Его желание исполнилось: Анна больше не приходила к нему и не пыталась его разбудить. Должно быть, сама крепко уснула, устав от домашних дел и от попыток уложить в кровать маленького Леву. Но Николай спал в эту ночь все-таки

беспокойно, часто просыпаясь и с испугом думая, что уже утро и ему надо срочно вставать и собираться в дорогу. Но потом оказывалось, что за окном все еще темно, а до утра далеко, и Николай, облегченно вздыхая, снова закрывал глаза, радуясь возможности хоть немного отсрочить такое тяжелое дело, как вставание с кровати и сборы в дорогу.

В конце концов, проснувшись в очередной раз, Гумилев обнаружил, что в комнате стало светлее, а небо за слегка раздвинутыми занавесками уже не черное, а светло-серое. Его покой подходил к концу. И при мысли о том, что уже совсем скоро придется вылезти из-под теплого одеяла в холодный враждебный мир, Николай бессильно заскрипел зубами. В ту минуту ему казалось, что он отдал бы все на свете, лишь бы получить возможность пролежать в постели еще сутки!

Однако он мог позволить себе погреться под одеялом еще час. Заснуть больше не удалось, и он просто лежал, не шевелясь и стараясь как можно сильнее насладиться этой неподвижностью и теплом. А потом часы в соседней комнате пробили семь утра, и Николай медленно сел на кровати, протирая глаза и пытаясь понять, очень ли плохо или, в целом, терпимо он себя чувствует. Голова была тяжелой, но, к счастью, не кружилась, да и слабость во всем теле оказалась не такой уж сильной. Бывало и гораздо хуже!

За дверью послышались легкие, едва различимые шаги – если бы не заскрипевшая половица, молодой человек, возможно, не обратил бы на них внимания. Анна приблизилась к двери, остановилась возле нее и несколько секунд стояла, не двигаясь, видимо, прислушивалась к тому, что происходило в спальне Николая, а может, размышляла – выполнять оставленное мужем требование обязательно разбудить его или оставить его спящим, предотвратив, таким образом, слишком опасную поездку… Но Гумилев не стал дожидаться, когда жена сделает выбор, и сам, не без усилия поднявшись с кровати, осторожно приоткрыл дверь спальни.

На пороге действительно стояла Анна – растерянная, раздосадованная и даже слегка испуганная. Увидев заспанного бледного мужа, она, тихо ахнув, отступила назад.

– Здравствуй, – вымученно улыбнулся ей Николай. – Все хорошо, мне уже гораздо лучше! Сейчас поем, чаю крепкого выпью, и вообще все замечательно будет!

Анна посмотрела на него недоверчивым взглядом, но спорить не стала. Гумилев не сомневался, что больше всего на свете она сейчас хотела бы удержать его дома, и был благодарен ей за молчание. Ведь ему все равно пришлось бы уехать, и он своим

упрямством лишь еще сильнее обидел бы ее. Правда, она, судя по всему, и так уже была на него обижена, потому что в ответ только молча кивнула и, не сказав ни слова, ушла в столовую.

Завтракали они тоже в полном молчании. Анна то и дело замирала и прислушивалась к тому, что делалось в ее комнате: не проснулся ли Лева? Затем она на цыпочках ушла к себе и, пока Николай собирался в дорогу, ни разу даже не выглянула из своей спальни. Гумилев старался не слишком спешить, оттягивал момент ухода до последнего, надеясь, что жена все-таки выйдет его проводить, и они расстанутся без обид друг на друга, но дверь, за которой она скрылась, оставалась закрытой, и оттуда не доносилось ни звука. В конце концов, боясь опоздать на поезд, Николай сам осторожно открыл дверь.

– Аня, я ухожу! – сказал он шепотом и, стараясь ступать как можно тише, подошел к кроватке спящего сына. Годовалый Лев, закутанный в теплое одеяло, улыбался во сне. Гумилеву очень хотелось наклониться и поцеловать его, но он побоялся разбудить ребенка. – Поцелуй его потом от меня! – попросил он Анну, смотревшую на него укоризненным взглядом, и прошептал: – Я скоро вернусь. Совсем скоро, ты и не заметишь, как время пролетит. Я вернусь, и у нас все будет хорошо!

– Да, конечно, – кивнула Анна, явно сдерживаясь, чтобы не возразить ему и не сказать вместо слов прощания какую-нибудь резкость. – Счастливого пути, Коля. И будь осторожен, пожалуйста.

– Я буду очень осторожен, обещаю! – обрадованный тем, что супруга сменила гнев на милость, воскликнул Гумилев и порывисто, как в юности, поцеловал ее. – До встречи!

Медлить нельзя было больше ни минуты: чтобы не опоздать на поезд, он должен был уже сейчас мчаться на вокзал на самой большей скорости. Николай в последний раз посмотрел на сына, схватил чемодан, в очередной раз мысленно порадовался, что весь остальной его багаж, вместе с оборудованием для экспедиции, уже загружен в вагон, и вышел из квартиры.

Слегка пошатываясь, он добрался до автомобиля и, с трудом загрузив чемодан на заднее сиденье, с облегченным вздохом уселся за руль. О том, можно ли ему управлять автомобилем в таком состоянии, Николай старался не думать, но неприятные мысли навязчиво лезли ему в голову всю дорогу до вокзала. Отгоняя их, он сбавлял скорость и некоторое время старался ехать особенно осторожно, внимательно следя за извозчиками и пешеходами, которые так и норовили выскочить на дорогу прямо у него перед носом. Но потом вспоминал, что опаздывает, и его автомобиль опять разгонялся, пугая ревом мотора медленно

плетущихся по улицам лошадей и стоящих на краю тротуаров дородных торговок пирожками.

Гумилев примчался на вокзал за несколько минут до отхода поезда, вбежал в свой вагон, плюхнулся на свободное место и обессиленно закрыл глаза. Поезд тронулся и начал потихоньку набирать скорость, но он уже не слышал ни стука колес, ни разговоров других пассажиров. Утренние сборы и дорога до вокзала отняли у него последние силы.

Проснулся Николай только к вечеру. Поезд шел полным ходом, вагон раскачивался из стороны в сторону, и ему не сразу удалось встать на ноги – слабость от лихорадки все еще давала о себе знать. Он посидел немного, прислушиваясь к своим ощущениям, но в конце концов понял, что чувствует себя намного лучше. Как и следовало ожидать, болезнь, промучив его одну ночь, отступила и вскоре должна была окончательно оставить его в покое. «А Анна еще хотела меня удержать! Чтобы завтра я, уже совсем здоровый, сидел с ней дома и умирал от стыда из-за того, что всех подвел! – злился Николай. – Нет уж, не дождетесь! У меня есть долг, который я выполню до конца!» С этими словами он, пошатываясь, отправился в тамбур, чтобы глотнуть немного свежего воздуха.

Поезд тем временем уже давно выехал из города и мчался мимо зеленой стены леса. Небо над этой стеной было еще достаточно светлым, но на нем уже начали зажигаться первые звезды. Блеклые, еле заметные – как же им было далеко до похожих на сияющие бриллианты южных звезд на иссиня-черном африканском небе! Но Гумилев знал, что скоро все изменится, что с каждой ночью звезды будут становиться все ярче, а небо – все чернее. Так бывало во время его первых путешествий, так должно было быть и теперь.

И небо, как и прежде, не обмануло его ожиданий. В Одессе оно было красивее и глубже, чем в Петербурге, в Константинополе – бездоннее, чем в Одессе, в Порт-Саиде – волшебнее, чем в Константинополе. Ну а дальше, по дороге в Абиссинию, Николаю было уже не до звезд. Пробираясь через джунгли, надо было смотреть под ноги, а не на небо…

В следующий раз полюбоваться звездами Гумилев смог, только добравшись до цели своего путешествия – затерянной среди непроходимых зарослей русской православной миссии. Его встретил страшно обрадовавшийся редкому гостю из России молодой человек, когда-то белокожий, но теперь такой загорелый, что его можно было перепутать с аборигенами, и попросил немного подождать под навесом из жесткой сухой травы. Это было вечером, и на небе уже зажглись первые, самые

яркие звезды. Николай не стал прятаться от них под травяной «крышей», он вышел из-под навеса, уселся возле одной из его стоек, прислонился к ней и, запрокинув голову, стал смотреть на эти звезды, каждую минуту обнаруживая, что среди них появилось еще несколько новых. Темнело в Африке быстро, и к тому времени, как к Николаю подошли двое помощников главы миссии, небесный свод над его головой превратился в усыпанную миллиардами звезд черную пропасть. Эта пропасть была еще красивее, чем во время прошлых экспедиций Гумилева, и он с трудом заставил себя оторвать от нее взгляд. Была бы его воля, любовался бы ими всю ночь, а к утру, когда звезды начали бы так же постепенно, одна за другой, гаснуть, сочинил бы стихотворение об этом переливающемся золотыми блестками небе! А потом его напечатали бы в каком-нибудь журнале в России, и друзья Николая читали бы его вслух на литературных вечерах, удивляясь ярким образам и доказывая друг другу, что это стихотворение – лучший образец акмеизма…

Но забыть обо всем и сочинять стихи, глядя на звезды, Гумилев позволить себе не мог. Его ждала работа, и стихи оставались непозволительной роскошью.

– Господин Гумилев, мы очень рады снова видеть вас здесь, – тихо сказал один из вышедших к Николаю мужчин. – Мы с нашим руководителем обдумали все, что вы предлагали нам в прошлый раз. Вы готовы обсудить это сейчас или хотите сначала отдохнуть?

Отдохнуть молодой путешественник не отказался бы, но ему не хотелось откладывать на потом то дело, ради которого он проделал такой длинный и тяжелый путь.

– Обсудим сейчас, – ответил он, вставая. – Я не устал.

Один из встретивших его миссионеров жестом пригласил Николая к возвышающейся чуть в стороне деревянной постройке – то ли школе, то ли больнице, то ли просто дому, где жили его соотечественники. Бросив последний взгляд на звездное небо, Гумилев зашагал к этой постройке вслед за местными жителями. Он не спешил – разговор ему в любом случае предстоял очень долгий…

Глава XVIII Россия, Петроград, 1917 г.

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

А. Ахматова

Когда-то давно, в невыразимо далеком детстве, Анна Андреевна Ахматова, тогда еще просто Аня Горенко, любила сидеть в своей комнате в тишине и сердилась на родных, если те нарушали ее одиночество. Сказал бы ей тогда кто-нибудь, что всего через десять-пятнадцать лет она будет мечтать, чтобы хоть кто-нибудь постучал в ее дверь и захотел бы поговорить с ней!

Анна несколько раз прошлась по комнате от одной стены к другой. Сидеть в полной тишине было невыносимо, хотелось услышать хоть какой-нибудь звук, пусть даже своих собственных шагов. Потом она села к столу, придвинула к себе помятый клочок бумаги и взяла карандаш. Надо попробовать описать свое одиночество и страх перед ним, может, тогда этот страх отступит?

Через час на бумаге появилось несколько написанных неровным почерком и резко зачеркнутых строчек. Еще через пару минут Анна скомкала обрывок и отбросила его в дальний угол комнаты. Ей опять было тяжело писать, она снова – в который уже раз! – хотела переложить свои мысли на бумагу, но не смогла этого сделать. А ведь, казалось бы, теперь никто не мешал ей писать. В этом она была полностью свободна. Рядом не было ни отца, с холодным каменным взглядом заявляющего, что ему не нужны родственницы-поэтессы, ни мужа, с доброй улыбкой советовавшего ей идти в балерины. Однако все, что Анне удавалось теперь сочинить, казалось ей таким слабым и бездарным! И поговорить об этом, поделиться своим бессилием ей тоже было не с кем. Будь Николай рядом, он, возможно, не принял бы ее жалобы всерьез, но по крайней мере выслушал бы ее. Но Николая в ее жизни больше не было. Вернувшись из своего третьего путешествия в Африку, он почти сразу принялся готовиться к следующей экспедиции, уверяя родных, что она крайне важна для всей Российской империи. Анна посмеивалась над такой самоуверенностью простого этнографа, но ее супруг в

ответ лишь загадочно улыбался. Позже Ахматовой стало не до смеха – Николай действительно собирался в новую экспедицию, и она видела, что, как и в прошлые разы, не в ее власти отговорить его от поездки. А еще через несколько месяцев она уже готова была на все, лишь бы отправить его в Африку, как можно дальше от охваченных войной России и Европы. Но Николай рвался на фронт, и никакие врачи больше не могли помешать этому.

Где он теперь, Анна не знала. Поначалу от него еще приходили письма: сначала из Финляндии и Швеции, потом – из Англии и Франции… В каждом Николай писал, что у него все хорошо, и просил поцеловать за него Львенка – он любил называть сына этим ласковым прозвищем. Но Ахматова не могла выполнить его просьбу. Маленький Лева жил в усадьбе Слепнево, под присмотром матери Николая: там было гораздо безопаснее и не так голодно, как в Петербурге. Сама Анна приезжала туда лишь изредка – ей часто не хватало денег на дорогу, да и свекровь не скрывала, что не испытывает никакой радости от визитов невестки…

За окном послышались чьи-то крики, и Ахматова оторвалась от мыслей о муже и сыне. Злобно ругался мужской голос, ему что-то отвечал испуганный, срывающийся на визг женский. Анна еще ниже склонилась над столом и обхватила голову руками, словно надеясь таким образом спрятаться от внешнего мира. Но крики становились все громче, с легкостью проникая в ее комнату сквозь каменные стены. Слов было не разобрать, но по интонации обоих кричавших людей несложно было догадаться, что мужчина чего-то требовал от женщины, а та пыталась ему возразить и прогнать его.

Анна зажала уши пальцами, надеясь хоть так избавиться от чужих воплей. На пару минут ей это удалось – голоса стали еле слышны, а потом как будто бы и вовсе стихли. Но стоило молодой женщине опустить руки и облегченно вздохнуть, как шум чужой ссоры снова ворвался в ее дом. Теперь не через окно, а сквозь стену, примыкавшую к лестничной клетке. Продолжая кричать друг на друга, мужчина и женщина вошли в подъезд.

– Чего ты ломаешься?! Ну, чего?! – Мужской голос, эхом разносившийся по гулкой лестнице, с легкостью преодолевал преграду в виде стены.

– Вон пошел! Убирайся!!! – голос женщины был еще пронзительнее.

Анна попыталась было снова заткнуть уши, но это уже ничем не могло ей помочь – ссорящиеся незнакомцы были слишком близко и кричали чересчур громко. Выясняя отношения, словно специально остановились рядом с дверью ее квартиры.

– Мы, советская власть, освободили всех женщин! – вопил мужской голос. – Если бы не мы, тебя бы выдали замуж за какого-нибудь старикана и он бы тебя всю жизнь держал взаперти! А теперь у тебя есть возможность работать, учиться и встречаться с кем хочешь! Ну и чем ты недовольна?!

– Я не хочу встречаться с тобой! Вообще ни с кем не хочу! – визжала в ответ женщина. – Отойди, убери руки, пшел!

Анна встала из-за стола и подошла вплотную к окну, чтобы хоть на пару шагов подальше отодвинуться от ругающейся пары. Однако тише их голоса не стали, наоборот, ссора разгоралась все сильнее.

– Теперь все женщины свободны! И вообще все люди свободны! – продолжал добиваться своего мужчина. – Все теперь имеют право любить кого угодно и когда захотят. Все! А ты, значит, не хочешь быть свободной, хочешь остаться мещанкой?!

– Я ничего не хочу, ничего! Пусти! – Женский визг стал совсем тонким и внезапно оборвался.

Анна, стоявшая у окна, закрыв уши и зажмурив глаза, не сразу поверила, что скандал закончился. Она вернулась к столу, снова придвинула к себе бумагу, потянулась к торчащему из чернильницы перу… И уже в следующую минуту поняла, что была права, когда не поверила своим ушам. Крики спорящей парочки снова ворвались в ее комнату, теперь – из-за стены, соединяющей с соседней квартирой. Звучали они более глухо, слов было почти не разобрать, но по интонации ругающихся нетрудно было догадаться, что мужчина продолжал настаивать на своем, а женщина пыталась сопротивляться. Анна снова заткнула уши. Крики стали тише, но все равно пробивались через все возведенные преграды. Хотя, возможно, съежившаяся на стуле Анна их на самом деле уже не слышала, и ей только казалось, что какие-то отголоски ссоры долетают до ее ушей.

Просидев так еще несколько минут, она вскочила и, стараясь не прислушиваться к крикам, выбежала в прихожую. Схватив висящее на вешалке пальто, набросила его на одно плечо и торопливо отперла дверь.

На лестнице скандал у соседей тоже был слышен, и Анна поспешно засеменила вниз по ступеням. Навалившись всем телом на тяжелые створки входной двери, она вылетела из подъезда. На улице стояла почти мертвая тишина – так, во всяком случае, показалось ей в первую минуту после того, как крики ее соседей остались позади, отрезанные от нее толстой дверью. И лишь несколько минут спустя, отбежав от своего дома на добрую сотню шагов, Анна снова стала обращать внимание на доносившиеся со всех сторон звуки. Где-то стучала копытами лошадь, где-то

завывал мотор автомобиля, какие-то кумушки громко разговаривали за ее спиной… Все было почти так же, как в прежние времена. Разве что лица людей, попадавшихся навстречу, были мрачными, и смотрели они по сторонам затравленными и часто озлобленными взглядами.

Глубоко вздохнув и заставив себя немного успокоиться, Анна медленно пошла по тротуару. Она уже стыдилась своего бегства из дома, но о том, чтобы вернуться, не могло быть и речи. Правда, и ходить в одиночестве по улице не намного лучше. Ей нужно, просто необходимо было с кем-то поговорить, даже не поговорить, а просто посидеть рядом, обменяться понимающими и сочувствующими взглядами, убедиться, что в мире остался хотя бы один человек, который понимает, как ей тяжело. Вот только рядом никого не было.

Задумчиво опустив голову, Ахматова пошла чуть быстрее, перебирая в памяти имена своих знакомых, живших в Петрограде. К кому из них можно зайти на минутку поговорить? Кто еще не сбежал во Францию или какую-нибудь другую страну Европы, кто не слишком бедствует, чтобы принять незваную гостью? Погруженная в эти размышления, она дошла до перекрестка и остановилась. Из всех друзей и приятелей, кого смогла вспомнить Анна, в городе остался всего один человек. До его дома было далеко, но больше ей пойти было некуда, и она, встряхнув головой, решительно двинулась через дорогу. У нее мелькнула было мысль доехать на извозчике, но в кармане пальто лежало всего несколько мелких монет, которых не хватило бы на столь дальний путь. «Тем лучше», – решила Анна. Дорога туда и обратно займет много времени, а значит, домой она вернется лишь поздно вечером, и ее соседи, вероятно, уже будут спать или уйдут куда-нибудь. К тому же, пока будет брести по улицам, окончательно успокоится, приведет мысли в порядок и снова сможет трезво рассуждать о том, что происходит вокруг.

Пройдя несколько кварталов, она все же начала жалеть о том, что ей не хватило денег на извозчика. Поднялся холодный ноябрьский ветер, а убегая из дома, она не захватила с собой ни платка, ни перчаток, да и пальто было слишком тонким для осенней петроградской погоды и почти не грело. Анна подняла воротник, одной рукой прижала его покрепче к шее, а другую руку сунула в карман, надеясь, что так пальцы хоть немного согреются. Но это слабо помогло, она дрожала все сильнее и теперь уже не возвращалась домой только потому, что идти назад ей пришлось бы дольше, чем к дому своего друга. В память настойчиво лезли картины из прошлого, из давно ушедшего детства: как родители кутали ее вместе с сестрами и братьями,

как заставляли тепло одеваться осенью и зимой, как пугали их всех обострением туберкулеза. Весной же вся семья начинала готовиться к поездке в Крым, в Евпаторию… В Царском Селе было еще холодно и сыро от талой воды и свисающих с крыш сосулек, а Анна и остальные дети уже видели себя на берегу Черного моря, на жарком, красочном, исцеляющем все болезни юге…

Воспоминания о жизни на море были такими яркими, что на какое-то время Ахматова даже перестала трястись. Мысленно она была в Крыму и шла по дикому пляжу, мимо накатывающихся на берег пенистых волн. Впереди возвышалась окутанная туманной дымкой гора с развалинами древней крепости, над головой жалобно кричали чайки… Было тепло, в воздухе пахло выброшенными на берег водорослями, а на губах чувствовался солоноватый привкус.

Анна вдохнула ледяной и влажный петроградский воздух и вернулась из прошлого в настоящее. Там, в Крыму, у теплого моря, ей не придется побывать уже никогда. Так же, как не удастся еще раз увидеть Париж, где они были вместе с Николаем, и другие города и страны, в которых она не бывала, но которые мечтала увидеть. Вряд ли она вообще сможет выехать из Петрограда даже в один из ближайших к нему городов, если только не покинет Петроград и вообще Россию насовсем. Но и тогда для нее будут закрыты и Крым, и Царское Село, и Слепнево, и все прочие места, которые она считала родными.

Дойдя до очередного перекрестка, Анна остановилась, пропуская извозчика, еще плотнее закуталась в пальто и не без радости обнаружила, что уже почти пришла. Еще минут десять – и она согреется, ей, наверное, дадут горячего чаю, и она сможет наконец поделиться с другим человеком всем тем, что не давало ей покоя. К тому же теперь она точно знает, о чем говорить: ей многое удалось обдумать, пока она шла по мрачному холодному городу.

Александр Блок открыл дверь сразу, как только Анна позвонила, и как будто бы совсем не удивился ее приходу.

– Проходите, проходите, – перебил он неожиданную гостью, когда та начала бормотать извинения и объяснять, что шла мимо его дома, решила заглянуть всего на минутку и ни в коем случае его не стеснит. – Вы замерзли совсем, ужас какой!

Он чуть ли не силой втолкнул Ахматову в комнату и набросил ей на плечи теплый пушистый плед. А еще через несколько минут они уже сидели за столом и пили некрепкий, заваренный по второму разу, но зато обжигающе горячий чай, и с каждым глотком Анне становилось все теплее. На тарелке, стоявшей между ней и Александром, лежали два куска серого

хлеба, тонко намазанного маслом.

– В наше время это самое щедрое угощение, – грустно усмехнулся Блок, пододвигая тарелку поближе к своей гостье.

Анна кивнула и, наградив его благодарным взглядом, взяла один кусочек – тот, что был, как ей показалось, немного меньше.

– Не стоило беспокоиться, я не голодна, – солгала она, поднося чашку к губам. – Мне только поговорить надо было… хоть с кем-нибудь…

– Я подхожу на роль «хоть кого-нибудь»? – понимающе улыбнулся Блок.

– Простите, я не хотела вас обидеть! – виновато опустила глаза Анна.

– Да не переживайте, я же все понимаю! – махнул он рукой. – Я никогда не был вашим единомышленником, посмеивался над Николаем Степановичем и его идеей «выращивания» талантов…

Его гостья тоже взмахнула рукой и резко покачала головой, давая понять, что все прежние разногласия, связанные с литературой, теперь не имеют никакого значения.

– Я о другом хотела вас спросить… О том, как нам теперь жить в России? – с трудом выговорила она. – Все сейчас уезжают, бегут… Николай точно не вернется назад… – и подняла глаза на Блока.

Александр некоторое время молча смотрел на Анну, а потом медленно кивнул.

– Да. Я сам об этом думал и тоже не знаю, как жить в России после всего, что произошло. Но для себя я решил: просто жить. Как получится. Просто жить в России… и потом в ней умереть.

Он говорил сбивчиво, но в его голосе звучала такая уверенность, что Анна, слушая эти слова, внезапно почувствовала себя такой же полной сил и готовой к любым трудностям, как в юности, много лет назад, когда она еще толком не знала жизни. А еще ей вдруг стало спокойно – куда-то ушли все мучившие ее в последнее время страхи и сомнения.

– Жить в России и умереть в России, – медленно проговорила она, по-прежнему не сводя глаз со своего собеседника.

Тот вздохнул, еще раз кивнул, подтверждая, что она поняла его мысль правильно, и добавил:

– Россия – это ведь не те, кто находится у власти. Это не новые порядки и не сложности с едой и всем прочим… Это все приходит и уходит, а страна остается.

– Да, конечно же. Вы правы, – согласилась Анна и неожиданно для себя радостно улыбнулась: – Вы, наверное, даже не представляете, насколько правы! А я это поняла…

Чай поэты допивали в молчании. Теперь им уже не особенно

были нужны разговоры: все самое главное было сказано и понято.

Глава XIX Россия, Петроград, 1918 г.

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Н. Гумилев

Гумилев шел по центру теперь уже бывшей российской столицы и не узнавал так хорошо знакомый ему город. Создавалось впечатление, что в последний раз он был здесь не четыре года, а целую вечность назад. Вместе с названием в Санкт-Петербурге изменилось решительно все. Двери модных магазинов и ресторанов, раньше всегда призывно распахнутые, были заперты, а порой и заколочены досками. Широкие окна, в сумерках ярко озарявшиеся изнутри огоньками свечей, темнели мрачными холодными четырехугольниками, плотно закрытыми шторами. Прохожих на улицах стало в несколько раз меньше, лица у всех, кто попадался Николаю навстречу, были хмурыми, озабоченными, а порой и откровенно испуганными. А ведь когда-то он ходил по этим же переулкам, мимо этих же самых домов и улыбался каждому идущему навстречу горожанину – а те так же радостно и тепло улыбались ему в ответ…

Но теперь о тех временах надо забыть. Они ушли надолго, если не навсегда, и вспоминать о них означало только понапрасну растравлять себя. Надо думать о будущем. Хотя и эти мысли не приносили ему никакой радости. Того будущего, ради которого Николай жил раньше, у него теперь тоже не было. Он совсем немного, совсем чуть-чуть не успел завершить порученное ему семь лет назад дело. Впрочем, если бы он сделал все вовремя, возможно, это ничего бы и не изменило – иногда Гумилев успокаивал себя этим, но в глубине души все равно считал, что в случившемся с Россией катаклизме была и доля его вины. Если бы он понастойчивее вел первые переговоры в Африке, если бы успел побывать там еще раз до начала войны, если бы собранные им абиссинские отряды подготовились к участию в боях раньше и успели бы выступить на стороне России… Может быть, их помощь стала бы решающей, и Россия одержала бы победу. Может быть, тогда не было бы и революции, и вообще все было бы по-другому.

И если да, то стало бы стране от этого лучше – или наоборот?..

Ответов на все эти вопросы у Гумилева не было. Но кроме них, молодого человека волновал еще один, не менее важный для него вопрос – о будущем его семьи. Оно, как надеялся Николай, у них с Анной все-таки было. Во всяком случае, Гумилеву очень хотелось в это верить.

«Аня, мне больше не нужно будет никуда уезжать… Я перестану ездить за границу… Научные экспедиции теперь прекратятся на несколько лет – они никому не нужны, на них нет денег…» – репетировал Гумилев про себя начало разговора с женой. Но все придуманные им фразы казались неестественными и неискренними. Хотя, по сути, это было правдой – Николай действительно уже не смог бы никуда уехать. Неискренним в этих мыслях было другое: новое положение дел совершенно не радовало Гумилева. Больше всего на свете он хотел бы вернуть в России старый порядок. И не только для того, чтобы Невский проспект снова стал светлым, мерцающим огнями витрин и окнами квартир и полным счастливых прохожих. В первую очередь Николай мечтал вернуть прошлое, чтобы опять получить возможность путешествовать. А главное – чтобы опять, как и прежде, быть нужным своей стране…

Но говорить обо всем этом Анне было нельзя. Николай не мог вернуть прошлое, не мог изменить то, что происходило в мире, но у него еще оставалась надежда вернуть свою любимую жену, и он не собирался упускать этот шанс. А для того, чтобы Анна снова захотела быть с ним и забыла свои прежние обиды, следовало пообещать ей, что он больше никуда от нее не уедет. Причем пообещать так, чтобы она поверила: он тоже очень этому рад. Этот момент смущал молодого человека сильнее всего. Он знал, что жена почувствует его фальшь и неискренность, как бы убедительно ни звучал его голос.

И все же надо было хотя бы попытаться уговорить ее начать все заново. Именно с такой мыслью Николай свернул на улицу, где жила их с Анной давняя подруга Вера Срезневская, и почти бегом бросился к ее дому. Анна, если верить их общим знакомым, должна находиться там, и ему очень хотелось надеяться, что он действительно застанет ее у Веры.

Срезневская, открывшая ему дверь, казалась постаревшей и измученной, но стоило ей узнать в неожиданном госте Гумилева, и по лестнице разнесся ее радостный голос – такой же звонкий, как и во времена их далекой юности.

– Коля?! Неужели это ты?! – вскрикнула она и даже слегка подпрыгнула на месте. – Я думала, что уже никогда тебя не увижу! Заходи скорее, чего на пороге стоишь?!

Сама она при этом продолжала стоять в дверях, и Николаю пришлось мягко отодвинуть ее в сторону. Вера с виноватым видом охнула и отступила назад, пропуская его в квартиру. Гумилев переступил через порог и оказался в просторной полутемной прихожей. Из-за чуть приоткрытой двери в гостиную раздавались негромкие голоса и стук вилок. Хозяйка дома покосилась на эту дверь с опасением, и Николай не сразу понял, чего она боится. Он еще не успел привыкнуть к тому, что в бывшей столице с каждым днем все труднее было купить самую нехитрую еду.

– Вера, я на минуту, – сказал он приятельнице успокаивающим голосом. – Мне только узнать, Анна сейчас у тебя?

– Да, она здесь, – кивнула Вера. – Проходи в столовую, мы там ужинаем…

– Мне ничего не надо, я вообще не голодный, – быстро соврал Николай. – Мне только с Аней поговорить. Позови ее!

– Да проходи, поешь. – Вера решительно взяла его за руку и повела в столовую. – Не совсем уж мы бедствуем, чтобы не предложить гостю хоть что-нибудь. Проходи!

Она втолкнула Гумилева в комнату и вошла следом. Он быстро оглядел сидевших за столом людей и встретился глазами с Анной. Ее лицо было каким-то особенно бледным и вытянувшимся, да и сама она заметно похудела, но Николай смотрел на нее и видел ту счастливую и слегка румяную девушку, которая когда-то, невообразимо давно, дала согласие стать его женой. Ему было невероятно трудно этого добиться, но он все-таки победил. Сейчас предстояло еще более сложное дело – восстановить все, что было у них с Анной в те годы, и он должен с этим справиться.

– Кажется, вы все знакомы с Николаем Степановичем? – вышла из-за его спины хозяйка дома.

– Знакомы, да! Здравствуй, Николай! – отозвалось сразу несколько голосов.

Но Гумилев даже не рассмотрел толком, кто это был. Он видел только Анну, привставшую со стула при его появлении и подавшуюся к нему.

– Добрый вечер, – рассеянно покивал Николай гостям и пошел навстречу уже вскочившей со стула и пробиравшейся к нему жене. – Здравствуй, Аня…

На один короткий миг ему показалось, что Анна торопится к нему, потому что тоже рада его видеть и мечтает помириться. Очень уж похожа она была на ту Анну, которая когда-то так же пробиралась к нему через толпу поклонников, слушавших его

стихи на литературном вечере. Но это мимолетное впечатление почти сразу рассеялось. Гумилев подошел к жене совсем близко, посмотрел ей в глаза и понял, что перед ним стоит совсем другая женщина. Усталая, чем-то встревоженная и совершенно не радующаяся его возвращению.

– Здравствуй, Коля, – эхом откликнулась Анна на его приветствие и кивнула на дверь: – Мы можем сейчас поговорить наедине?

– Я этого и хотел! – выпалил Николай и тут же начал отступать обратно к выходу из комнаты. Слова Анны не обрадовали его, а наоборот, напугали. Да, она тоже хотела поговорить с ним, но Гумилев был уверен, что ей нужно было обсудить вовсе не примирение с ним.

Натыкаясь на стулья сидевших за столом гостей и бормоча извинения, Анна и Николай вышли в прихожую. Хозяйка дома, бросив на них неуверенный взгляд, пробормотала: «Возвращайтесь чай пить!», и прикрыла за ними дверь. Вскоре из комнаты послышались приглушенные голоса и смех – разговор собравшихся за столом друзей Веры продолжился, им было все так же весело и легко…

– Аня, я очень рад тебя видеть… – осторожно начал Николай. Все слова, которые он подбирал по дороге в этот дом, вылетели у него из головы при виде бледного и усталого лица жены.

– Да, Коля, очень хорошо, что ты при-ехал, – быстро заговорила Анна, как только он на мгновение замялся. – Я тебя давно ждала, мне срочно нужно кое-что тебе сказать…

– И мне тоже! – еще раз попытался взять инициативу в свои руки Гумилев. – Аня, я во многом виноват перед тобой. У тебя есть тысяча причин, чтобы на меня обижаться. Тебе было тяжело со мной, я плохо тебя понимал…

– Коля, это все не имеет никакого значения, – прервала его Анна, качая головой. – Я не держу на тебя зла, не тревожься из-за этого.

Еще на один краткий миг к Николаю вернулась надежда на то, что у них с Анной все наладится и они опять будут вместе.

– Аня, ты – золото! – воскликнул он, уже не заботясь о том, что его могли услышать Вера и ее гости.

– Тише, не надо, – приложив палец к губам, почти шепотом ответила Анна. – Это все неважно, потому что нам с тобой все равно придется расстаться.

– Как расстаться?! – «Мы ведь и так уже расстались, мы столько времени были чужими друг другу, нам надо снова стать мужем и женой, а не расставаться!» – едва не добавил Николай, но, посмотрев Анне в глаза, сдержался и промолчал. Она

смотрела на него с каким-то странным, непонятным ему чувством, так, как еще никто никогда не смотрел. Неужели… с жалостью?!

– Коля, я хочу попросить у тебя развода, – продолжая все так же смотреть ему в глаза, едва слышно произнесла Анна. – Надеюсь, ты не будешь против и мы сможем решить все мирно?

– Да… то есть нет… то есть зачем мирно?.. – растерянно забормотал Гумилев, но под выжидающим взглядом жены сумел взять себя в руки и добавил: – Я хочу сказать, зачем тебе развод?!

– Что значит «зачем»? – небрежно пожала она плечами. – Мы уже четыре года живем раздельно, у каждого из нас давно своя жизнь. То, что мы считаемся мужем и женой, – недоразумение.

– Но, Аня… – все еще ошарашенный Николай никак не мог найти нужные слова, чтобы возразить ей. – Мы же действительно долго жили раздельно, оставаясь женатыми… Даже если ты не хочешь… ко мне вернуться, для чего все менять?

– А тебе не приходило в голову, что я не хочу жить так, как мы жили? – холодно спросила Ахматова. – Что мне, может быть, нужна свобода?

Николай ответил не сразу. Как ни тяжело ему было в этом признаваться, но о таком развитии событий он действительно не думал. Ему казалось, что, как только он снова появится в жизни Анны и признает свою вину, она с радостью его простит, сама тоже попросит прощения, и они вместе начнут все сначала. Но с чего он взял, что любимая все еще желала его возвращения? Почему решил, что она должна была все это время терпеливо дожидаться, когда он одумается и все поймет?

– Ты хочешь свободы? – переспросил он, не зная, что еще сказать.

– Да. Хочу, – не глядя ему в глаза, кивнула Анна. – Мне нужен развод, потому что я собираюсь выйти замуж.

«Вот так. Вот и все. Кончилась твоя семейная жизнь. Навсегда кончилась», – несколько раз повторил про себя Николай, но поверить в это никак не мог. Он продолжал смотреть на замершую напротив него и с вызовом глядевшую ему в глаза Анну и молчал. Эта женщина, которую он так любил, которую столько лет добивался, из-за которой хотел умереть, больше не была его женой. Они стали чужими друг другу. Ее больше не было в его жизни.

Да не могло этого быть, просто не могло!

– Вижу, ты без меня времени не теряла, – проговорил Николай, безуспешно пытаясь скрыть вспыхнувшую в нем злость и придать своему лицу насмешливое выражение.

– Тебя слишком долго не было, – безразлично пожала

плечами Ахматова.

– Когда я всего на минуту отходил, тебя это тоже не останавливало, один твой Модильяни чего стоил! – огрызнулся Гумилев.

– Он стоил столько же, сколько твои Кузьмина-Караваева и Высотская! – хлестнул его в ответ все такой же невозмутимый голос Анны.

– И, видимо, столько же, сколько тот, кто у тебя был до меня!

– Да уж подороже всех тех, кто в те годы был у тебя!

Супруги уставились друг на друга пылающими гневом глазами. Каждому было в чем обвинить другого, каждый давно мечтал высказать все старые обиды, и на несколько секунд оба обрадовались тому, что у них наконец появилась такая возможность. Вот только потом, когда все обвинения были высказаны, их злость друг на друга снова сменилась растерянностью.

– Ну, ладно, кто же этот несчастный? – спросил Николай, стараясь говорить таким же равнодушным тоном, как и Анна. – Я его знаю? Можно будет принести ему свои соболезнования?

– Да, ты его знаешь, – холодно пожала плечами Ахматова. – Это Вольдемар Шилейко. Он здесь, – кивнула она на закрытую дверь. – Можешь прямо сейчас пойти ему посочувствовать.

Что-то в ней изменилось. Еще никогда Николай не видел свою любимую такой невозмутимой, еще ни разу она не говорила с таким каменным, не выражающим никаких эмоций лицом. Раньше она, несмотря на то что всегда держалась с достоинством, спорила с ним неуверенно, опасаясь обидеть слишком сильно, не желая причинять ему боль. Теперь же ей было все равно, что он чувствует. И когда она успела стать такой? Видимо, в то время, когда его не было рядом…

– Шилейко? – растерянно переспросил он.

Вольдемар Казимирович, он же просто Володя, знакомый Николая по этнографическому музею, действительно сидел за столом рядом с Анной. Тогда, заглянув в комнату, Гумилев не разглядел толком никого из присутствующих, ему сразу бросилось в глаза лицо Анны, и больше он никого не видел. Но, похоже, краем глаза он все-таки успел заметить Шилейко. Тот сидел справа от Анны и вроде бы смотрел на нее и на бросившегося к ней Николая… Но при этом позволил ей выйти с Николаем в коридор, не пошел вслед за ними, чтобы поддержать ее при разговоре… Если они с Анной действительно хотят пожениться, то это, мягко говоря, странно! Впрочем, это Николая, видимо, уже не касается.

– Ну, так что, позовешь и его на Черную речку? –

прищурилась, глядя ему в глаза, Анна.

– Можно подумать, он принял бы вызов! – усмехнулся Николай.

– Конечно, не принял бы, – огрызнулась Анна, и теперь ее глаза вспыхнули злостью. – Он-то в отличие от тебя умный человек!

С этими ее словами спорить было трудно. Николай сам не раз с восхищением говорил об уме и эрудиции Шилейко, в том числе и в присутствии Анны. Вольдемар, несмотря на то что был на несколько лет младше него, успел добиться гораздо большего в этнографии, лучше разбирался в истории Ассирии, да и стихи писал не хуже… А уж про его способности к иностранным языкам в этнографическом музее и вовсе ходили легенды! Но неужели он превзошел Николая и во всем остальном, оказался более достойным любви Анны?

– Что ж, желаю вам с Вольдемаром Казимировичем счастья. Совет вам да любовь. – Его слова прозвучали неожиданно громко в гулкой тишине пустого коридора, и Анна обеспокоенно скосила глаза на ведущую в гостиную дверь. – Я займусь разводом завтра же, – пообещал он.

– Благодарю, – медленно кивнула Анна, к которой снова вернулся ее спокойный величественный вид.

Николай развернулся и зашагал по коридору к входной двери.

– Извинись за меня перед Верой, пожалуйста. Скажи, что я очень спешил, поэтому не попрощался, – бросил он через плечо и вышел на лестницу.

Глава XX Россия, Петроград, 1918 г.

Что войны, что чума? – конец им виден скорый,
Их приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?

А. Ахматова

В тесном флигеле Мраморного дворца было так холодно, что порой Анне Андреевне казалось, будто в его стенах время проделало широкие трещины, в которые беспрепятственно задувает ледяной осенний ветер. Она сидела за столом, положив на колени старый, в нескольких местах заштопанный плед и накинув на плечи пуховый платок. Это позволяло ей не дрожать от холода за работой. Но стоило Анне подняться, чтобы достать с полки какую-нибудь книгу, она опять вздрагивала, ежилась и спешила поскорее накрыться пледом.

Разбирать почерк Вольдемара Шилейко было почти так же сложно, как расшифровывать древние тексты на мертвых языках. Каждая строчка его рукописи была в пометках, сделанных им прямо поверх написанного раньше, и о том, какое слово он имел в виду, порой можно было только догадываться. Анна знала, что, переписывая его работу набело, наверняка что-то поняла неправильно и наделала ошибок и что вечером, обнаружив их, ее теперешний муж опять будет недоволен. Но предотвратить это было не в ее власти. Она могла только стараться сделать так, чтобы ошибок оказалось как можно меньше, и надеяться, что Вольдемар не будет слишком ругаться из-за них. Правда, в последнее время он стал особенно нервным, и любой промах жены с каждым днем вызывал у него все более сильное раздражение.

Часы пробили шесть вечера. Анна вздрогнула, и перо в ее руке еще быстрее заскользило по листу бумаги. Через час вернется муж, и если к этому времени она сделает слишком мало, опять рассердится и скажет, что «ничего другого от нее и не ожидал». А потом весь вечер будет сам переписывать свои черновики, кривясь и с трудом сдерживая гнев на нерадивую жену. Разговаривать с ним при этом нельзя, оправдываться и извиняться – тем более, заниматься какими-нибудь другими

делами – тоже. Что бы Анна ни делала в таких случаях, Вольдемар обижался еще сильнее, и единственная возможность избежать его неприязни – тщательно выполнять все его требования.

Она в очередной раз обмакнула перо в чернильницу и принялась выводить на бумаге следующую фразу. Взгляд ее упал на лежащую рядом тонкую стопку чистых листов, но Анна поспешно отвела его и попыталась сосредоточиться на том, что пишет. Все чаще во время работы над рукописями мужа ей хотелось отвлечься и попробовать снова сочинить стихотворение. Иногда к словам, которые она выводила на бумаге, вдруг придумывались рифмы, иногда в мыслях возникали целые строчки, и ее рука сама тянулась записать их, чтобы не забыть, а потом дописать стихотворение до конца. Приходилось одергивать себя и вспоминать о решении, принятом перед тем, как выйти замуж во второй раз. Тогда Анна пообещала себе больше не писать, и ее новый супруг, сам в свое время сочинявший стихи, но бросивший это занятие, полностью одобрил ее намерение. Ахматова продержалась уже полгода, вот только чем дальше, тем тяжелее ей было бороться с собой и своим желанием творить…

Хлопнула входная дверь. Анна опять вздрогнула и принялась писать еще быстрее. Муж, как назло, вернулся почти на час раньше, а она в этот вечер сделала не так много – избежать его ворчания и взгляда пустых, словно не видящих ее глаз теперь точно не удастся! Единственный шанс на спокойный вечер – если сейчас он увидит ее погруженной в работу.

– Здравствуй, Анна! – Вольдемар вошел в комнату и аккуратно притворил за собой дверь.

– Добрый вечер, Володя, – пытаясь догадаться, в каком настроении пришел с работы супруг, ответила она.

Шилейко говорил спокойным голосом, в котором совсем отсутствовали эмоции. Недоволен он чем-то или, наоборот, чему-то рад – все его чувства были скрыты от посторонних. Анна заглянула мужу в глаза, пытаясь «прочитать» в них хоть что-нибудь, но взгляд Вольдемара тоже был холоден и бесстрастен. Впрочем, особой злости или раздражения Анна в нем не заметила, а это уже было поводом надеяться на лучшее. Может, все-таки муж настроен благодушно, и вечер пройдет в спокойной и доброжелательной обстановке?

– Ну, как прошел день? – Вольдемар приблизился к столу и наклонился над бумагами, с которыми работала его жена.

– Как обычно, переписываю вот… – ответила она, не прекращая своего занятия. – Сегодня допишу восьмую главу, и ты сможешь ее посмотреть.

– Хорошо, посмотрю. Много еще осталось? – безразличным тоном спросил Шилейко.

– Да нет, не очень, я тебе дам, когда закончу, – уклончиво ответила Анна.

– Хочешь сначала доделать, а потом ужином заняться? – поинтересовался Вольдемар все так же равнодушно и чуть капризно поджал губы.

Анна мысленно обругала себя. Ну, конечно же, супруг пришел голодный, днем он наверняка забыл пообедать, а может, и не нашел для этого времени, а теперь ему хочется есть! Она так и не научилась думать о самых элементарных желаниях тех, кто жил рядом с ней. Сама-то очень часто бывала настолько увлечена стихами, что забывала и об обеде, и об ужине, но, несмотря на это, не особо и мучилась голодом, поэтому никак не могла привыкнуть к тому, что для других людей ничего не есть весь день куда более тяжкое испытание. Из-за этого у них и с Николаем ничего не сложилось. В том числе из-за этого…

– Ужин есть, я сейчас разогрею! – Она отложила перо и вскочила со стула. – Подожди минуточку!

Вольдемар промолчал. Он придвинул к столу другой стул, уселся на него и положил перед собой бумаги, с которыми работала Анна. Та поспешно вышла из комнаты. Еще одна ее оплошность: надо было все-таки сначала дописать страницу до конца, сложить все бумаги стопкой и только после этого заняться ужином! Тогда Вольдемар скорее всего не стал бы трогать аккуратную стопку бумажных листов, а просто дождался бы ужина. Теперь же он просмотрит сделанную ею работу и наверняка отругает ее за то, что она переписала слишком мало страниц!

Но изменить допущенную ошибку было уже невозможно. Если бы Анна сразу вернулась к бумагам, это точно вызвало бы недовольство Вольдемара. Оставалось одно: идти на кухню, заниматься ужином и надеяться, что муж не станет сердиться на нее слишком сильно.

Возня с ужином отняла у Анны совсем немного времени. В другой раз она бы обрадовалась этому, но теперь ей страшно не хотелось возвращаться к недовольному супругу, и она до последнего момента придумывала себе разные мелкие дела. Вытерла стол, повесила на стену кухонные полотенца, разложила по местам спички, тряпки и другие мелочи. Выглянула зачем-то в окно, посмотрела на темнеющее вечернее небо, на спешащих по улице прохожих, а потом принялась раскладывать по тарелкам сваренную в мундире картошку и резать хлеб. Накрыв на стол и разложив строго по местам вилки, ненужные для картошки ножи

и салфетки, Анна еще с полминуты неподвижно постояла возле стола, глядя, как от горячей еды на тарелках поднимаются клубы пара. Но тянуть время дальше было нельзя – еще немного, и картошка начала бы остывать. К тому же, пока Анна занималась ужином, ей тоже захотелось есть: голод, не беспокоивший ее весь день, теперь заявил о себе с неожиданной силой.

В последний раз оглядев кухню и убедившись, что ничего не забыла, она вернулась в кабинет мужа. Тот сидел за столом в той же позе, в какой Анна оставила его, и держал в руках один из исписанных ею листов бумаги. Лицо его было все таким же невозмутимым и не выражало никаких эмоций.

– Володя! – позвала его Анна, безуспешно пытаясь скрыть дрожь в голосе. – Все готово, пойдем ужинать!

Шилейко все с тем же каменным выражением лица положил бумагу на стол и медленно поднялся. Не взглянув на жену, он прошел мимо нее в кухню, сел за стол и придвинул к себе тарелку. Анна заняла стул напротив и тоже принялась есть, почти не чувствуя вкуса картошки. Голода она тоже больше не ощущала – ей было совсем не до этого. Последняя слабая надежда на то, что вечер пройдет в доброжелательной атмосфере, рухнула. Муж все-таки был не в настроении.

До конца ужина супруги не сказали друг другу ни слова. Вольдемар первым закончил есть, отодвинул от себя тарелку и молча встал из-за стола. Анна проследила за ним взглядом, но он вышел из кухни, ни разу даже не оглянувшись на нее. Бежать следом за ним не стоило: Анна уже знала по опыту, что это тоже может рассердить мужа. Она доела оставшуюся в тарелке картошку, убрала со стола грязную посуду и лишь после этого тоже отправилась в кабинет. Шилейко сидел за столом, склонившись над развязанной папкой с бумагами, которую принес из библиотеки. В руке он держал перо и в тот момент, когда Анна вошла в комнату, начал делать на одном из листов какие-то пометки. Она в нерешительности остановилась посреди кабинета, снова не зная, как себя вести. Раз супруг занял место за своим столом, значит, работу ей уже не продолжить. Но если она не доделает то, что обещала сделать в этот день, Вольдемар обидится. Хотя он уже обиделся, это и так очевидно!

Попытавшись успокоить себя мыслью, что хуже все равно уже не будет, Анна достала из шкафа первую попавшуюся книгу и села с ней на диван. Лучше уж читать что-нибудь, и не важно, что это за книга! Лишь бы не сидеть без дела в мучительном ожидании, когда Шилейко оторвется от своих записей и решит высказать ей очередные претензии. Покосившись на неподвижную ссутулившуюся спину Вольдемара, который продолжал что-то

писать, Анна опустила глаза на лежащую у нее на коленях книгу. Взгляд ее пробежал по раскрытым страницам, и она невесело усмехнулась: безжалостный муж, даже полностью погруженный в свои дела, продолжал ее мучить! Это была его собственная монография, изданная три года назад и посвященная расшифровке древних шумерских надписей на глиняных табличках. Анна уже читала эту монографию, когда они с Вольдемаром только поженились, и даже немного пообсуждала ее с ним, стремясь сделать ему приятное. Но самой ей пересказ надписей, сделанных на давно забытом мертвом языке, был не интересен, и она ни за что не стала бы перечитывать монографию мужа по доброй воле.

Опасливо покосившись на неподвижную спину Шилейко, Анна заерзала на диване. Ей хотелось взять другую книгу, но она с неприятным удивлением вдруг поняла, что боится даже этого. Встать и поискать что-нибудь на книжных полках означало привлечь внимание Владимира, напомнить ему о своем существовании и, возможно, спровоцировать его на ссору прямо сейчас. А если остаться на диване и сидеть тихо, то он, занятый переводом, может еще долго молчать и не изводить ее упреками. «Лучше его не отвлекать», – решила она и не двинулась с места.

Так они просидели почти два часа. Шилейко, склонившись над бумагами, писал, время от времени листая словари и свои собственные записи в пухлых потрепанных тетрадках, а его жена прислонилась к диванному валику и невидящим взглядом смотрела в раскрытую перед собой книжку. Поначалу она попробовала все-таки читать ее, рассудив, что сидеть, вообще ничего не делая, намного тоскливее, но вскоре поймала себя на том, что просто скользит взглядом по строчкам, не вникая в их смысл. Набранные мелким шрифтом строчки расплывались у нее перед глазами, и вместо них Анна вдруг как наяву увидела другие надписи – сделанные от руки, чуть неровные, написанные хорошо знакомым ей, красивым, но торопливым почерком. Она сразу узнала и почерк, и срифмованные слова – это было начало стихотворения Гумилева, одного из последних:

Здравствуй, Красное море, акулья уха,
Негритянская ванна, песчаный котел!

Красное море в его любимой Африке… Сколько Анна слышала о нем рассказов! И о нем, и о пустыне, и о джунглях… Как Николай мечтал побывать там еще раз, как мечтал показать все это ей!.. А она не хотела ни на какое Красное море, не хотела

его слушать и думала о своих собственных стихах.

На страницу монографии упала горячая капля. Потом еще одна и еще. Тонкая бумага быстро намокла, и Анна с ужасом подумала, что книжка теперь испортится, и за это ей тоже достанется от Шилейко, но сдержать слезы было выше ее сил. Лишь через минуту она отодвинула монографию подальше от себя, чтобы они больше не попадали на страницы, но плакать так и не перестала, только старалась делать это как можно тише, не всхлипывая, чтобы до сидящего спиной к ней мужа не донеслось ни звука.

Так они просидели до глубокой ночи. Вольдемар писал, Анна делала вид, что читает. Время от времени в ее памяти всплывали старые стихи Николая, а порой ей опять, еще сильнее, чем раньше, хотелось самой написать хоть несколько строчек – неважно о чем, на любую тему, лишь бы снова создать что-то свое, выплеснуть на бумагу охватывавшие ее чувства. Тогда она снова придвигала к себе раскрытую монографию Шилейко, бездумно пробегала глазами несколько строчек и еще раз напоминала себе о недовольстве мужа ее стихами и о своем обещании ничего не писать после свадьбы с ним.

Когда за окном была уже полная темнота, а керосиновая лампа начала коптить, Вольдемар отложил перо и потянулся.

– Все, – сказал он, не оборачиваясь. – Наверстал все упущенное, завтра ты сможешь даже чуть меньше поработать.

– Спасибо, Володя, – тихо ответила Анна.

Супруг никак не отреагировал на ее слова. Он подкрутил фитиль лампы, убавив свет так сильно, что в углах комнаты сгустилась ночная темнота, и стал наводить на столе порядок. Анна поставила монографию обратно на полку – читать ее при таком освещении было уже невозможно – и села на прежнее место. Теперь осталось дождаться, когда Вольдемар предложит идти спать, и она с радостью думала, что ждать придется недолго. Спать ей не хотелось, но и сидеть без дела на диване было уже просто невыносимо.

– Выход моих «Заметок» опять откладывается неизвестно на сколько времени, – сказал Шилейко все тем же безразличным ко всему голосом. – Денег на это нет, и вообще, – заговорил он чуть более высоким тоном, явно передразнивая кого-то из своих коллег-ученых, – «стране сейчас не до ассирологии, людям сейчас есть нечего».

Стул под ним громко заскрипел, словно поддерживая хозяина в его недовольстве.

– Сейчас и правда всем тяжело, – осторожно возразила ему Анна, вспомнив, как считала копейки в магазине и варила

надоевшую за несколько месяцев картошку.

– Тяжело, – согласился Вольдемар и наконец повернулся к жене лицом: – Но что же теперь, вообще от науки отказаться? Только о еде думать, как все эти пролетарии?

Анна тихо вздохнула. Сама она в последнее время думала именно о еде да еще о том, как согреться в промерзшей квартире. Хотя жили они с Вольдемаром по сравнению с другими еще очень неплохо!

Правда, справедливости ради стоило признать, что, какой бы голодной она ни была, ей в голову все равно постоянно приходили мысли о стихах.

– Ну, давай ляжем, нечего керосин расходовать, – предложил Шилейко.

– Да, пора уже, – эхом откликнулась Анна.

Глава XXI Россия, Петроград, 1919 г.

Я, что мог быть лучшей из поэм,
Звонкой скрипкой или розой белою,
В этом мире сделался ничем,
Вот живу и ничего не делаю.

Н. Гумилев

Из-за стены доносились приглушенное хныканье трехмесячной Леночки и голос ее матери, монотонно бормочущей что-то успокаивающее. Николай Степанович сидел в своей комнате, прислушиваясь к этим привычным звукам, и все никак не мог заставить себя выйти к жене и начать давно задуманный разговор, понимая, что эта беседа затянется надолго и будет далеко не мирной – хорошо еще, если удастся договориться обо всем до ночи и не напугать дочку!

Однако откладывать разговор тоже было нельзя – он и так дотянул до последнего. Тяжело вздохнув, Николай встал из-за стола и, приготовившись к долгому, изматывающему спору, отправился в детскую.

Его жена стояла возле детской кроватки и, когда он вошел, приложила палец к губам. Маленькую Лену удалось наконец уложить спать, но любой громкий звук мог разбудить ее и свести на нет все старания матери. Гумилев кивнул и отступил назад, в темный коридор. Спустя пару минут туда же вышла и его супруга.

– Ася, нам надо поговорить, – тихо сказал Николай, жестом предлагая ей пройти в его комнату.

Молодая женщина, испуганная его жестким и серьезным тоном, словно бы сжалась в комок и торопливо проскользнула в распахнутую мужем дверь. Гумилев шагнул за ней, мысленно уговаривая себя не раздражаться и не выходить из себя во время разговора. Получалось это у него, впрочем, плохо – супруга злила его одним своим жалобным видом. Анна бы никогда не позволила себе смотреть на него такими собачьими глазами, никогда не забыла бы о своей гордости!

Но теперь перед ним была не Анна. Хотя звали эту так и не ставшую ему родной женщину тем же именем, и однажды Николай услышал, как его мать и сестра в разговоре назвали ее «Анной Второй». Поначалу его это развеселило: имя звучало по-царски, в то время как нынешняя супруга Николая, неуверенная в себе и при этом, как ни странно, очень легкомысленная, меньше

всего была похожа на правительницу. Но потом Гумилеву вдруг стало досадно, и он едва удержался от того, чтобы не вмешаться в разговор и не попросить своих родных не именовать ее так. Сам он всегда звал вторую супругу Асей – так ее имя было меньше всего похоже на полное и не напоминало ему о той, которая теперь стала для его семьи «Анной Первой». Причем она в отличие от занявшей ее место «Анны Второй» была бы достойна носить такое царственное прозвище. Да, та Анна была настоящей царицей! Асю же в лучшем случае можно было назвать горничной…

Однако предаваться философским размышлениям и корить себя за то, что он променял «королеву» на «служанку», теперь было не время. Николай отогнал все эти глупые сравнения, мешавшие ему начать разговор, и громко прокашлялся.

– Ася, выслушай меня и не перебивай! В Петрограде сейчас стало совсем опасно – ты сама это видишь. И с продуктами тоже, видишь, что творится. Я боюсь за тебя и Лену.

Выражение лица Анны стало совсем перепуганным и несчастным. Казалось, она ждет от мужа чего-то страшного – что он выгонит их с дочерью из дома, ударит ее, уйдет от нее неизвестно куда. Испуг ее был таким явным и сильным, что Николай, посмотрев в ее беззащитные глаза, на мгновение даже сам поверил в собственное злодейство.

– Да не смотри ты на меня так! – недовольно проворчал он, отгоняя наваждение. – Я хочу, чтобы вы с Леной уехали из города в Слепнево или, может быть, куда-нибудь еще дальше. Это для вашей же безопасности!

Ася беспомощно захлопала глазами. Она наконец поняла, что муж не злится на нее и не собирается с ней расходиться, но мысль о том, что ей придется куда-то ехать и жить вдали от него, не рассчитывая на его помощь, пугала молодую женщину ничуть не меньше.

– Коля… – еле слышно простонала она. – Как же я с Леночкой без тебя буду? Мы не справимся…

– Ты прекрасно со всем справишься, – твердо возразил Гумилев, уже привыкший к подобным спорам. – Если вы уедете в Слепнево, тебе будет помогать мама. Да, лучше всего сделать так: езжайте в Слепнево, а если там тоже станет тяжело, вы все вместе, с мамой и Александрой, переедете еще дальше.

Он уже знал, что все разговоры о том, как жена беззащитна, если его нет рядом, необходимо пресекать сразу же и делать это как можно строже. Иначе ее упреки и жалобы могли продлиться на всю ночь, с каждой минутой становясь все более истеричными. А Николаю после каждого нового обвинения было все тяжелее

противостоять Асе. Чаще всего, не выдержав ее слез и несчастного выражения лица, он сдавался и уступал ее требованиям. Но сейчас этого допускать нельзя, Ася с Леной действительно должны уехать, и Николай обязан был настоять на этом, несмотря ни на какие слезы и причитания.

Однако Ася явно надеялась переубедить мужа и остаться с ним в Петрограде. Она закрыла лицо руками, села на диван, и ее плечи мелко затряслись. Губы молодой женщины что-то шептали, но так тихо, что Николай не мог разобрать ни слова.

– Ложись сейчас спать, Ася, – сказал он, выдержав длинную паузу, и слова эти прозвучали немного мягче предыдущих. Эта легкая перемена в его голосе не осталась незамеченной – супруга Николая на мгновение затихла, а потом заплакала еще громче и жалобнее. Проклиная себя за слабохарактерность, Гумилев отвернулся от жены и стал смотреть в окно, терпеливо дожидаясь, когда всхлипывания за его спиной прекратятся.

Ждать пришлось минут пять, а то и больше. Ася хлюпала носом, шумно вздыхала и ахала, надеясь окончательно разжалобить мужа, и сдалась в тот момент, когда и сам он уже был готов уступить и позволить ей никуда не уезжать, лишь бы эти невыносимые рыдания наконец прекратились. К счастью, он не успел ничего сказать Асе – она замолчала раньше. Николай услышал, как скрипнул диван, и жена зашагала к двери. Он с трудом подавил вздох облегчения и остался стоять лицом к окну, не оборачиваясь, пока за ней не закрылась дверь.

– …никому не нужны, отовсюду гонят… – успел услышать ее тихое обиженное бормотание Николай. Пришлось снова приложить значительное усилие, чтобы не побежать за ней и не начать спорить, доказывать, что ее никто никуда не прогоняет, что о ней, наоборот, заботятся. Он понимал, что это ничего не даст и только затянет их ссору, но желание высказать жене все, что он о ней думал, было огромным.

Поскрипев зубами, Николай остался стоять у окна. Из соседней комнаты раздался какой-то стук – Ася то ли уронила что-то, то ли хлопнула дверью. «Разбудит ведь Ленку, овца истеричная! – в сердцах обругал он жену. – Столько времени ее укладывали – и опять придется все сначала начинать!» Но, к счастью, его опасения не оправдались. За стеной было тихо, ребенок вопреки ожиданиям Гумилева не проснулся и не заплакал. Да и сама Ася, судя по всему, перестала рыдать, оставшись без «зрителя». Хотя, насколько Николай успел узнать свою вторую супругу, она вполне могла продолжать тихо плакать и в одиночестве.

Постояв еще немного у окна и убедившись, что жена не

собирается вернуться в кабинет и возобновить скандал, Гумилев уселся на диван и устало закрыл глаза. Первую «атаку» Аси он отбил. Если повезет, то теперь она смирится с тем, что ей не удалось настоять на своем, и согласится уехать. Хотя может выйти и так, что придется повторить этот неприятный разговор еще один или пару раз – признавать свое поражение «Анна Вторая» не любила. Она вполне способна испробовать метод длительной осады, чтобы настоять на своем: всю ночь или весь завтрашний день плакать, причитать и упрекать мужа в жестокости.

Винить в такой жизни Гумилев мог только себя. Мысль об этом впервые пришла к нему еще в самом начале их с Асей супружества, во время первого столкновения с ней, и как ни хотелось Николаю отмахнуться от нее, он хорошо понимал: это правда. А ведь он стремился создать семью с простой женщиной, которая не имела бы никаких творческих увлечений и прежде всего думала бы о нем и о детях. С женщиной, которая не спорила бы с ним по любому поводу, лишь бы доказать, что права она, а не он, не пыталась бы писать стихи лучше, чем он, не впадала бы в многодневную тоску из-за каждой творческой неудачи и каждой их размолвки. К которой можно было бы в любой момент подойти, не боясь, что она не в настроении или занята сочинением новых стихов… Что ж, все, о чем Николай мечтал, он действительно получил. Анна Энгельгард не умела писать ни стихов, ни прозы. Она сразу признала Гумилева главой семьи и согласилась с тем, что принимать решения, касающиеся их жизни, должен он сам. На нее в отличие от Ахматовой не заглядывались другие мужчины, а если кто-то и обращал на нее внимание, она смущалась и спешила уйти, ей даже в голову не приходило улыбнуться в ответ. Она никогда не критиковала его стихи и восхищалась каждой, даже не самой удачной строфой. Казалось, рядом с Николаем теперь действительно идеальная супруга, о которой можно только мечтать.

Но длилась счастливая семейная жизнь Гумилева недолго. Оказалось, что жена может не спорить с мужем открыто и на словах как будто соглашаться с ним, но делать это таким жалобным голосом и с таким несчастным выражением лица, словно для нее это ужасная пытка. Анна Энгельгард владела этим в совершенстве: стоило Николаю взглянуть в ее полные слез и обиды глаза, и он начинал чувствовать себя последним негодяем, издевающимся над беззащитной женщиной. Приходилось идти на уступки, предлагать Асе разные компромиссы и в конце концов соглашаться на то, чего хотелось бы ей. Выглядело при этом все так, будто соглашался он на это добровольно, только чтобы не

расстраивать жену. Но Гумилева не покидало ощущение, что он дал Асе возможность обвести себя вокруг пальца. А через год после свадьбы Николай окончательно убедился, что это чувство – вовсе не иллюзия. Его вторая супруга действительно обладала способностью заставлять близких людей чувствовать себя виноватыми и стремиться загладить несуществующую вину, выполняя ее желания.

Наверное, Николай должен был понять, что она за человек, еще до свадьбы. Например, в тот день, когда Ася пришла к нему на свидание, одетая в форменное платье сестры милосердия, и сказала, что ей нравится гулять именно в этом наряде: «Пусть все вокруг видят, что я работаю в больнице и помогаю людям!» Или в тот, когда она с легкостью отказалась от ухаживания за больными, посчитав, что работа отнимает у нее слишком много времени, и ей не стоит «хоронить в госпитале свою молодость». Но тогда Гумилев не придал всему этому значения. Или не захотел придать, потому что очень уж спешил жениться на «Анне Второй» – назло вышедшей замуж за Вольдемара Шилейко «Анне Первой».

А когда ему стало ясно, что за женщину он выбрал себе в спутницы жизни, было слишком поздно, Ася к тому времени уже ждала ребенка. Потом на свет появилась их дочь Лена, и ради того, чтобы не расставаться с девочкой, Гумилев заставил себя смириться и терпеть дальше тяжелый характер жены. Постепенно он научился настаивать на своем, не поддаваясь жалости, но прибегал к этому способу нечасто. Леночка слишком сильно пугалась и расстраивалась, когда ее мать начинала громко рыдать – она тоже плакала, только совсем тихо, почти беззвучно. Так мучить собственного ребенка Николай не мог и поэтому настаивал на своем только в тех случаях, когда речь шла о чем-то совсем серьезном для всей семьи. Например, об Асиной и Лениной безопасности и благополучии, как это было сегодня…

Из соседней комнаты не раздавалось ни звука, и Гумилев позволил себе немного расслабиться. Если бы Ася решила продолжить спор, она бы уже вернулась в кабинет и снова попыталась бы вызвать в нем жалость. А раз она молчит, значит, поплакав в одиночестве и не дождавшись его прихода, поняла, что с отъездом из Петрограда придется смириться. Правда, завтра она может попробовать снова переубедить его. Но, выдержав первую «атаку», он точно справится со всеми последующими – это тоже будет не очень легко, но все-таки намного проще.

Скинув домашние туфли, Николай растянулся на диване. Эту ночь, как и многие другие ночи, когда жена обижалась на него, ему предстояло провести в кабинете. Но он уже привык к этому,

случалось спать и на гораздо менее мягкой и удобной постели – в Африке, в походах… Один трюм, в котором он приплыл в Египет в первый раз, чего стоил!

Закрыв глаза, Гумилев попытался поскорее заснуть, но в голову, как назло, полезли новые неприятные мысли – почти те же самые, что пыталась внушить ему супруга. О том, что теперь его семья будет далеко, и, если с женой и дочерью что-то случится, он не узнает об этом вовремя. И о том, что сам он остается совсем один, не только без Аси, но и без Леночки. И к этому придется привыкать так же долго и мучительно, как в свое время он привыкал к тому, что рядом нет «Анны Первой» и Львенка.

«Зато все они будут в безопасности, – напомнил он себе. – Ася с Леной и Львенком у мамы, Анна – у своего Шилейко. Им ничего не грозит, их есть кому защитить». И как ни хотелось ему, чтобы «Анна Первая» и все его дети были рядом, мысль о том, что сейчас для них лучше находиться рядом с более надежными людьми, помогла Николаю немного успокоиться и примириться с создавшимся положением.

Глава XXII Россия, Слепнево, 1919 г.

Не всегда чужда ты и горда
И меня не хочешь не всегда,
Тихо, тихо, нежно, как во сне,
Иногда приходишь ты ко мне.

Н. Гумилев

В первые годы жизни Лев думал, что все дети живут только с бабушками, а мамы и папы лишь время от времени приезжают к ним в гости. В его семье всегда было именно так. Бабушка играла с ним, учила писать и читать, водила гулять в лес или в деревню, отвечала на его бесконечные «почему» и гладила его темную головку своей костлявой, слегка грубоватой рукой. А мама и папа жили где-то далеко, в другом, неведомом мире, который Лев представлял себе совсем смутно, и лишь время от времени приезжали к ним с бабушкой – чтобы пожить с ними несколько недель и снова уехать неведомо куда. На вопросы Левы, где они живут, родители отвечали длинными рассказами о других городах и странах, но многого в этих рассказах мальчик не понимал.

Отец говорил с ним о далеких государствах, перескакивая с одного на другое, и к концу беседы в голове у Льва была полнейшая путаница. Абиссиния и Франция, каменные пирамиды и железная башня, обезьяны с верблюдами и уличные художники существовали в его воображении в одном и том же месте, рядом друг с другом. Он считал это место одной, очень красивой сказочной страной и порой мечтал отправиться туда вместе с папой. Но почему-то ни разу не попросил отца взять его в эту удивительную страну с собой. Как будто чувствовал, что это невозможно…

Мама приезжала к ним еще реже и оставалась всегда ненадолго. Леву ее визиты не радовали, а только расстраивали. Каждый раз, при-ехав, поцеловав его и задав ему несколько вопросов о том, как он поживает и слушается ли бабушку, мама уходила в свою комнату и почти все время проводила там. Утром она обычно просыпалась поздно и не выходила к завтраку. Бабушка в такие дни всякий раз неодобрительно косилась на ее дверь, но при этом шикала на Леву, чтобы он не шумел и не будил мать раньше времени. Мальчик же, удивляясь про себя, как можно спать днем, старался играть тихо и время от времени на цыпочках подходил к маминой комнате и прислушивался. Вдруг

она уже встала и сейчас выйдет к нему?

Иногда ему казалось, что из-за двери доносятся легкие шаги и слабый скрип половиц. Мальчик радовался, уверенный, что, раз мама проснулась, он скоро увидит ее и сможет пожелать ей доброго утра. Но время шло, а из комнаты по-прежнему никто не выходил. Тогда Лев возвращался к своим солдатикам и лошадкам, но все чаще и чаще бросал игрушки и вновь выглядывал в коридор. А потом и вовсе переставал играть и лишь переставлял солдатиков с места на место, продолжая прислушиваться к каждому шороху, раздающемуся из маминой спальни. Так проходили еще час или полтора, казавшиеся ребенку вечностью. И только потом мама в конце концов выходила из комнаты, заглядывала в детскую и улыбалась радостно бросавшемуся к ней сыну:

– Здравствуй, Лев, здравствуй! Как ты спал?

Она приседала, чтобы обнять его, и Лева обхватывал мать обеими руками. Ему не хотелось ее отпускать, он мог бы часами стоять так, прижимаясь к ней, но его счастье длилось всего пару минут. Потом Анна мягко отстраняла сына и выпрямлялась.

– Поиграй пока, а я пойду чаю выпью, – говорила она ласково и снова надолго исчезала из детской.

Леве очень хотелось побежать за ней в столовую и посидеть рядом за столом, пока она будет пить чай, но он уже знал, что бабушка не позволит ему этого. Каждый раз, когда он пытался пойти следом за матерью, она ловила его на полдороге и с тихим ворчанием уносила обратно в детскую.

– Не мешай маме, не надо, – наставляла она внука. – Пусть спокойно посидит, не до тебя ей. Лучше я с тобой поиграю, хороший мой…

Сказать, что он хочет играть не с ней, а с мамой, Лев не мог: ему не хотелось ее обижать. Приходилось переставлять вместе с бабушкой солдатиков и «стрелять» из игрушечной пушки, одновременно с этим прислушиваясь к шагам в коридоре и надеясь, что мама заглянет в детскую еще раз. Иногда она так и делала, а иногда возвращалась в свою комнату и сидела там до самого вечера. Бабушка говорила, что она пишет стихи, но, когда Лев с любопытством спрашивал, что это такое, неодобрительно поджимала губы и заявляла, что это ерунда и пустая трата времени. Мальчик видел, что такие вопросы ей неприятны, и замолкал, хотя ему очень хотелось понять, зачем маме нужно заниматься «пустым делом».

А мама проводила у них в доме еще некоторое время, а потом вдруг в один несчастливый для Левы день сообщала ему, что скоро ей надо будет уехать. После этого она обычно проводила с

ним больше времени, брала его с собой на прогулку и смотрела, как он играет, но это не радовало мальчика – он знал, что это продлится недолго и что на следующий день матери рядом с ним уже не будет. Так и случалось. Она уезжала поздно вечером, после того, как Леву укладывали спать, а на следующий день бабушка принималась ворчать громче обычного и сердилась, если внук спрашивал о маме. Особенно раздражали ее вопросы о том, когда мама или папа приедут к ним в следующий раз.

– Они сами не знают, когда вспомнят о своем сыне! – недовольно бормотала она. – Откуда же мне это знать, скажи на милость?!

Лева обижался и, надув щеки, уходил к своим игрушкам. Бабушка, видя, как он молча, со взрослым, сосредоточенным видом перекладывает с места на место солдатиков и деревянных зверей, тут же забывала о своем недовольстве и бросалась гладить его по голове.

– Родненький ты мой… – бормотала она грубоватым, но бесконечно добрым голосом. – Маленький… Прости старую, не сердись! При-едут они к тебе еще, обязательно приедут! Папаша твой точно приедет, он и по тебе скучает, и по мне, старухе… Вспомнит про нас и приедет. А мы его встретим, мы ему на ужин пирог испечем, как он любит, с яблочками…

Мальчик улыбался, чтобы дать бабушке понять, что не сердится и верит ей, но про себя думал, что отец, наверное, вспоминает о них не так уж часто и что ждать его в ближайшие дни не стоит. А уж маму и подавно. Ведь про то, что она скучает по ним с бабушкой, ему ничего не было сказано…

Постепенно Лева стал все реже расспрашивать бабушку о родителях, а потом и вовсе прекратил заводить о них разговор – ведь ему все равно никогда не говорили ничего конкретного о том, когда мать или отец приедут в Слепнево. Бабушка выглядела довольной и, наверное, думала, что внук забыл о родителях. Внук же, напротив, думал о них каждый день.

Ему было лет пять, когда они с бабушкой зачем-то поехали в деревню, и там он пережил первое в своей жизни по-настоящему серьезное разочарование. Там, в маленьких деревянных домиках за высокими заборами, жили семьи, в которых было много детей, и Лева с изумлением узнал, что вместе с ними там жили и родители. Правда, поначалу, когда они с бабушкой вошли в первый двор и старая хозяйка пригласила их в дом, мальчик подумал, что мать и отец, встретившие их там, тоже приехали к своим детям на время, погостить. Однако, поговорив о чем-то с хозяевами, бабушка повела Леву в другой дом, где он увидел точно такую же картину. Детей там было еще больше, и среди них

оказались даже двое почти совсем взрослых. Все они сидели за столом, собираясь ужинать, и во главе этого стола сидел их бородатый отец, а возле печки хлопотала полная румяная мать.

Вот тогда в голову Леве закралась странная мысль, которую он поспешил высказать бабушке после того, как они ушли из этого второго гостеприимного дома:

– А что, разве папы с мамами не всегда живут отдельно от детей?

– Отдельно? – удивилась бабушка, не понимая, почему внук задал такой необычный вопрос. – С чего ты взял, Левушка? Папы и мамы живут вместе, и дети живут с ними, и бабушки, и дедушки…

– Они всегда живут вместе? Как там, где мы сейчас были? – все еще недоумевал мальчик, оглядываясь назад.

– Ну, конечно! Как же иначе? – Бабушка присмотрелась к внуку повнимательнее, и его грустные глаза, уже готовые налиться слезами, сказали ей больше, чем наивные детские слова. – Ну, то есть… иногда родители и уезжают куда-нибудь, а потом возвращаются… – заговорила она уже не таким уверенным тоном, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно мягче. – Вот твои папа и мама часто где-то ездят, ты знаешь, а бывает, что родителям не надо никуда ездить – как у наших крестьян, которых ты сейчас видел… Понимаешь, у всех по-разному бывает.

Лев несколько раз послушно кивнул головой, делая вид, что все понимает – он почувствовал, что бабушка расстроилась из-за его вопроса, и не хотел беспокоить ее еще сильнее. Хотя на самом деле мальчик понял только одну вещь: его семья была какой-то неправильной, не такой, как все остальные. Во всех других семьях мамы и папы жили дома и никуда не уезжали, он почему-то теперь был уверен, что точно так же живут и все остальные. И не только в деревне, где они с бабушкой побывали, а вообще везде, во всех других деревнях и поселках, расположенных поблизости, и в городах, о которых рассказывала бабушка, и в далеких странах, где бывал отец… Все остальные дети жили вместе с родителями, и только он, Лева, почему-то жил отдельно от них. Но узнать у бабушки, почему так происходит, было невозможно: мальчик понимал, что по каким-то неведомым для него причинам спрашивать ее об этом нельзя. Удержаться от этого поначалу было трудно, но постепенно Лева привык.

Теперь он о родителях думал только про себя и ждал их. Но они приезжали к ним с бабушкой все реже и проводили с ними все меньше времени. Лева, впрочем, научился не слишком сильно грустить по этому поводу: став постарше, мальчик сообразил, что, когда вырастет, ему можно будет в одиночку ездить по разным

городам и странам, и он сможет сам бывать у отца и матери в гостях. Надо было просто дождаться, когда он вырастет. И Лева ждал, не замечая, что чем дальше, тем меньше ему хочется их снова увидеть…

Может быть, поэтому в тот день, когда отец и мать в последний раз приехали в Слепнево вместе, Лева и не выразил особой радости? Он выбежал к ним навстречу, увидев в окно, как они подходят к дому, весело рассмеялся, когда отец подхватил его на руки и подбросил в воздух, улыбнулся погладившей его по голове матери, но того восторга, с каким он встречал их раньше, у него уже не было. И когда они все втроем вошли в дом, Лев думал уже не о том, как подольше побыть с родителями и сделать так, чтобы они не уехали, а об оставленных в комнате игрушках. Правда, и мама с папой сразу отправили его поиграть, а сами пошли о чем-то разговаривать с бабушкой. Раньше он стал бы ждать, когда они освободятся, или даже попытался бы подслушать их разговор, а теперь, как ему и было сказано, спокойно вернулся в детскую и продолжил прерванную игру. Плюшевая компания – медведь и две маленькие собачки – строили себе домик из пустых коробок и маленькой скамеечки для ног. Дело это было непростое, домик, подобно сказочному теремку, норовил обрушиться каждый раз, когда Лева пытался усадить в него тяжелого медведя, поэтому он сосредоточился на строительстве и почти забыл, что совсем рядом, в соседней комнате, сидят долгожданные гости.

В конце концов дом для игрушечных зверей был построен, а вокруг него для охраны выстроились оловянные солдатики. Лев, полюбовавшись этой картиной, подумал, что теперь надо отправить еще кого-нибудь из его игрушечных друзей в гости к мишке и собачкам. Вот только кого удостоить этой чести? Гость должен быть легким, чтобы своим присутствием не разрушить с таким трудом возведенный дом. Деревянные звери или старая бабушкина матрешка с облупившейся краской не подойдут. Надо поискать тряпичную куклу, которой играла в детстве тетя Александра, – мальчики, конечно, не играют в куклы, но она легкая, и ее можно засунуть в домик из коробок. Вот только где сейчас эта кукла, наверное, в тетиной комнате? Лева уже давно ее не видел…

Мальчик зевнул и прилег на ковер рядом с игрушечным домиком. Его вдруг потянуло в сон, и он вспомнил, что обычно в это время, после обеда, бабушка укладывала его на час в постель. А сейчас она забыла об этом, потому что приехали папа с мамой. Что ж, он может немного вздремнуть прямо здесь, на полу, а сходить за куклой еще успеет.

Закрыв глаза, Лев некоторое время лежал неподвижно, с удивлением думая, что спать на ковре гораздо удобнее и не надо тратить время на то, чтобы раздеться и убрать с кровати покрывало, а потом одеться и снова застелить постель. И почему бабушка этого не понимает и заставляет его спать в кровати? Сказать ей об этом или не стоит? А может, она рассердится, что он уснул на ковре?.. Мысли путались, сменялись какими-то неясными образами, и мальчик уже готов был окончательно провалиться в сон, как вдруг за его спиной послышался негромкий скрип половиц.

– Тихо, видишь, он спит, – услышал Лева шепот отца. Ему захотелось обернуться и вскочить, но что-то удержало мальчика от этого, и он продолжал лежать с закрытыми глазами. За его спиной снова раздались шаги – кто-то тихо вошел в комнату и сел на его кровать, которая тоже еле слышно заскрипела. Ребенку показалось, что отец был не один, что в детскую пришли двое, и он осторожно приоткрыл один глаз, чтобы проверить это. Кровать была плохо видна из такого положения, но он все-таки сумел разглядеть две пары ног сидящих на ней людей – мужчины в черных брюках и женщины в светло-серой юбке, из-под которой выглядывали носки простых домашних туфель. К нему и в самом деле пришли оба родителя, вместе!

И снова мальчик не решился открыть глаза и дать отцу с матерью понять, что он не спит. Теперь Лева просто боялся это сделать. Пока он тихо лежит на ковре, а родители сидят рядом, все происходит так, как в его мечтах, как обычно бывало в других семьях: он, мама и папа – вместе. И завтра они точно так же придут к нему, и послезавтра… Они всегда будут настоящей семьей.

– Устал Львенок, наигрался… – донесся до мальчика сквозь снова накатывающую на него дремоту отцовский шепот.

– Ш-ш-ш, не разбуди! – еще тише ответила ему мать.

– Дети крепко спят, не бойся, – успокоил ее отец, и они вновь замолчали.

Лев не видел их, но почему-то был уверен, что родители сидят в обнимку или держатся за руки. А еще он точно знал: они оба тоже представляют себе, что живут вместе с ним и каждый день видят его спящим среди игрушек.

– Аня, ведь у нас так все было хорошо! – произнес вдруг вполголоса папа. – Ну, зачем… скажи, зачем ты все это разрушила?

Мама ничего не ответила.

Глава XXIII Россия, Петроград, 1921 г.

Очарован соблазнами жизни,
Не хочу я растаять во мгле,
Не хочу я вернуться к отчизне,
К усыпляющей мертвой земле.

Н. Гумилев

Петроградские улицы уже давно не были свидетелями ночных прогулок веселых компаний молодых людей и девушек. Обычно по ночам город словно бы вымирал, да и днем большинство прохожих спешили по своим делам с хмурыми и озабоченными лицами, редко улыбались и почти никогда не смеялись. Но теперь к Дому искусств подходила совершенно беззаботная компания, смех и шутки которой эхом разносились по пустынной улице. Причем компания была вовсе не пьяной – просто счастливые люди, которым весело и интересно друг с другом.

В центре этой маленькой компании шел невысокий коротко подстриженный мужчина, чем-то неуловимо выделявшийся на фоне своих спутников. Он тоже был весел и легкомысленно смеялся над шутками остальных, но выглядел немного старше их. Если же кто-нибудь посторонний присмотрелся бы к его глазам, то ему бы показалось, что этот человек еще старше, что ему все тридцать, а может, и больше лет.

Но приглядываться к шумным прохожим было некому, кроме них, на улице ни одной души. Только чуть в стороне от Дома искусств стоял неприметный, почти не видимый в ночной темноте черный автомобиль. На него, впрочем, веселящаяся компания даже не посмотрела. Молодые люди и девушки продолжали смеяться, рассказывать смешные истории и декламировать не слишком складные, но очень патетичные стихи. Если кто-нибудь из них и обратил внимание на машину, то не придал ее появлению никакого значения. Шел 1921 год, автомобилей на улицах было уже немало, и петроградцы постепенно переставали воспринимать их как странную диковину.

– Ну что, может, ко мне поднимемся, чайку попьем? – перекрикивая галдящих друзей, спросил самый старший из гуляющих. Но те, по-прежнему радостно улыбаясь, один за другим стали вежливо отказываться:

– Спасибо, но поздно уже!

– В другой раз…

– У меня вроде новая строфа сочинилась, мне домой надо, записать ее!

«Предводитель» компании развел руками:

– Ладно, тогда – до следующей встречи! Жду от вас новых стихов. И чтоб они были лучше прежних!

– Постараемся! – заверили его друзья и, развернувшись, двинулись обратно, время от времени оборачиваясь, чтобы помахать своему «предводителю» руками. Он тоже махнул им и шагнул к двери своего подъезда, но вдруг остановился и снова огляделся по сторонам. Идти домой и ложиться спать ему не хотелось. Слишком хороша была теплая летняя ночь, пахнущая свежей от прошедшего еще днем дождя листвой и слабо освещенная мерцающими в небе звездами, слишком приятным был дующий со стороны залива легкий ветерок. Хотелось, несмотря на усталость, еще немного пройтись или просто посидеть где-нибудь на скамейке. Но скамеек поблизости не было, бродить вокруг дома молодому человеку показалось совсем уж глупым занятием, поэтому он просто остановился у подъезда, глядя куда-то вдаль.

На его лице расплылась счастливая улыбка. Очень уж удачно прошел сегодняшний день. Он и выспался, и не опоздал на занятия в «Звучащей раковине», своей новой творческой студии, и большинство учеников сегодня порадовали его новыми успехами в поэзии, и погода была прекрасной, и прогулялись они после занятий очень весело… Не было ничего, что вызвало бы у руководителя студии недовольство или огорчение. Разве что одна невеселая мысль, которую он сумел отогнать и на время забыть утром, снова вернулась, заставив его улыбку исчезнуть, а взгляд помрачнеть. Вечно отравляющая жизнь мысль о том, что он одинок и что так будет всегда, потому что нет рядом его любимой женщины. Нет Анны и никогда уже не будет. И сколько бы ни убеждал себя, что счастлив в своей теперешней жизни, счастлив без нее, в глубине души он всегда будет знать, что это обман. Без нее ему всегда будет плохо.

Воспоминание об Ахматовой, так неожиданно ворвавшееся в этот прекрасный теплый вечер, заставило молодого человека вздрогнуть, а потом бессильно опустить голову. Но он не желал мириться с тем, что такой замечательный день может под конец испортиться, и снова начал уговаривать себя не унывать и не считать свою жизнь неудавшейся. Ведь ему было чем гордиться, действительно было! И таких вещей немало. Сколько стран он повидал, сколько научных исследований провел, сколько важных

вещей сделал для своей страны! А скольких поэтов вырастил, можно сказать, собственными руками, сколько у него было кружков, студий и сообществ, куда приходили едва умеющие зарифмовать две строчки молодые люди и откуда выходили известные в литературном мире, публикующиеся в журналах и издающие собственные сборники настоящие поэты!

А вот о поэтах ему думать как раз не стоило… Он хотел напомнить себе о своих теперешних учениках и о тех, кто недавно выпустился из его студии, но память тут же обратилась к давнему прошлому, к той единственной пишущей стихи женщине, в которой он не хотел признавать талантливого поэта. Потом, правда, признал, но сделал это слишком поздно. И она ушла из его жизни, исчезла навсегда, хотя ее талант превосходил все остальные таланты, которые ему удалось разглядеть и развить в своих учениках.

«Нет, так дело не пойдет!» – потряс головой мужчина и медленно сделал несколько шагов вдоль дома. В его жизни была не только та женщина! В ней было еще много таких событий, которыми он мог с полным правом гордиться! Сколько у него было поэтических кружков, которые он создал, сколько было учеников и сколько их сейчас? Те шесть человек, провожавших его в этот вечер домой, – это лишь самые близкие, кроме них, есть другие, и все они пишут хорошие стихи. Не всегда гениальные, не всегда даже очень талантливые – но обязательно как минимум хорошие, грамотные и с «изюминкой». Меньшего он своим ученикам не позволяет.

Хотя главное все же не ученики, а то, что он успел сделать для своей страны до революции. Если было в его жизни хоть что-то, чем он имеет право гордиться, то это его дела в Абиссинии. Жаль только, что теперь все, чего ему удалось там достичь, оказалось бесполезным. Но это от него уже не зависело. Сам он выполнил задание наилучшим образом, сделал все, что было в его силах. И заработал возможность гордиться собой и с радостью вспоминать тот давний успех. Хотя у этой радости все равно оставался привкус горечи и досады…

Молодой человек с раздражением махнул рукой, словно пытаясь таким образом отогнать печальные мысли. Надо все-таки подумать о чем-то приятном, надо срочно вспомнить хоть что-нибудь хорошее, иначе весь этот замечательный вечер непременно будет испорчен! А ему так не хотелось этого допускать! Очень уж он был счастлив на заседании своего литературного кружка и после него…

Мысли Николая вернулись к кружку и ученикам, и настроение у него снова поднялось. Да, в «Звучащей раковине»,

как и во всех остальных его кружках, занимались по-настоящему достойные поэты! Талантливые и всегда стремящиеся к чему-то большему. А еще – молодые, веселые, искренне радующиеся жизни. И сам он, общаясь и гуляя с ними, становился таким же юным и жизнерадостным, как они. Ему уже тридцать пять лет, но рядом с этими парнями и девушками он чувствовал себя их ровесником. Да и не только рядом, это ощущение юности сохранялось, даже когда он оставался один. «Вот, мы однолетки с вами, а поглядите – я, право, на десять лет моложе!» – вспомнился ему вдруг недавний разговор с заходившим к нему в гости Владиславом Ходасевичем. Тот посмеивался над жизнерадостным Гумилевым, ворчал, что руководителю поэтической студии следует быть более солидным, а Николай в ответ только смеялся и дразнил его рассказами об игре в жмурки с членами этой самой студии. Ходасевич вежливо улыбался, однако Гумилев видел, что собрат по перу все-таки не одобряет такое поведение. Но его это совершенно не беспокоило.

Кажется, он еще сказал тогда, что будет веселиться и играть в жмурки с молодежью до девяноста лет. Да, именно так! Почему-то ему в голову пришло именно число «девяносто», и он несколько раз повторил, что непременно доживет до такого преклонного возраста и, оставаясь юным в душе, будет с интересом общаться с двадцатилетними. И это были не пустые слова! В тот день он действительно был уверен, что так все и будет. Ему исполнится сорок, потом пятьдесят, потом семьдесят и в конце концов девяносто, но он не перестанет чувствовать себя молодым, любящим жизнь, полным сил и новых идей, полным творческих замыслов… И молодым поэтам будет интересно обсуждать с ним самые животрепещущие вопросы.

Николай еще раз вдохнул полной грудью ночной воздух и облегченно улыбнулся. Он и сейчас твердо знал, что доживет до девяноста лет и его жизнь будет такой же счастливой, как и в эту теплую летнюю ночь. Тоска по Анне не исчезла, но отступила куда-то далеко, на задний план, и больше не мешала ему наслаждаться жизнью. «Я и Анну еще верну!» – неожиданно пришла Гумилеву в голову еще одна радостная мысль, и он мгновенно поверил в это. Да, он проживет еще больше полувека и снова завоюет свою любимую женщину. Наверное, не сразу, наверное, для этого ему придется запастись терпением и приложить много усилий, но рано или поздно они с Анной и маленьким Львенком снова будут вместе. И все у них будет хорошо.

Он вдруг почувствовал, что ему просто необходимо еще немного пройтись, а лучше – пробежаться. Переполнявшее его

счастье вместе с надеждой на еще большее, совсем безграничное счастье не давали спокойно стоять на месте, а о том, чтобы подняться к себе домой и лечь спать, и вовсе не могло быть и речи.

Но бегать по ночной улице он все же не стал, хотя от того, чтобы пройтись быстрым шагом вдоль дома, поглядывая на темные спящие окна, не отказался. Лишь теперь, во время этой короткой прогулки, он заметил, что вокруг как-то необычайно тихо. Не было даже слабого ветра, который шелестел бы листьями на деревьях, молчали птицы и кошки-полуночницы, исчезли припозднившиеся прохожие. Да еще и в окнах ближайших домов не было заметно ни одного, даже самого слабого огонька, хотя обычно, возвращаясь домой среди ночи, Николай видел хотя бы пару светящихся ламп или свечей. Словно не осталось в Петрограде любителей гулять или читать по ночам, словно весь город вымер или был покинут своими жителями… Николай улыбнулся этим слегка тревожным мыслям. Конечно же, никуда петроградцы не делись, завтра город снова заживет своей суетливой жизнью! А ему все-таки пора домой. Лучше лечь спать с этим чувством счастья, пока оно не прошло, не развеялось…

Молодой человек развернулся и зашагал в обратную сторону, к своему подъезду. Он был уже в паре шагов от него, когда слева, за растущими недалеко от дома деревьями, ему померещилось какое-то движение. Или не померещилось? Николай оглянулся и увидел, что от стоявшей возле деревьев черной машины, которую он заметил, еще когда в компании своих юных друзей подходил к дому, отделились две человеческие фигуры. «Как видишь, город не вымер, в городе есть еще такие же сумасшедшие полуночники, как ты!» – насмешливо сказал он себе, вновь отгоняя усилившееся беспокойство. Эти два непонятно откуда взявшихся на ночной улице человека выглядели слишком подозрительно.

Поначалу у Николая еще была надежда, что они пройдут мимо. Сам он, ускорив шаг, свернул к подъезду, но незнакомцы тоже пошли быстрее, и еще через пару секунд Гумилеву стало ясно, что они идут прямо к нему и догонят его раньше, чем он скроется за дверью. Можно было, конечно, побежать, и тогда он, пожалуй, успел бы заскочить в подъезд, а возможно, даже добраться до своей квартиры и запереться в ней. Но имело ли это смысл? Его все равно бы поймали, все равно вошли бы в квартиру, выломав дверь, ему в любом случае не удалось бы ускользнуть от этих людей, как бы он ни пытался.

– Николай Степанович Гумилев? – негромко спросил один из мужчин, преграждая ему дорогу.

– Да, – ответил Николай. Отпираться тоже было

бессмысленно – теперь, посмотрев в глаза остановившим его людям в аккуратных темных костюмах, он в этом не сомневался. Они и так знали, кто он. Они вообще знали о нем если не все, то очень и очень многое.

Ощущение счастья, в котором Гумилев в буквальном смысле купался минуту назад, гуляя вдоль дома, еще не оставило его. Он еще не осознал, что его жизнь только что изменилась, он по-прежнему был тем восторженным молодым человеком, у которого впереди много радостных и интересных лет, наполненных поэзией, вдохновением, прогулками с друзьями и любовью. Хотя где-то в глубине души уже начало зарождаться понимание: ничего из того, о чем он только что мечтал, не сбудется. Он больше не напишет новых стихов, не научит писать стихи новых поэтов, не создаст новых литературных журналов. Не увидит, как растут и взрослеют его дети. Не помирится с Анной и не начнет с ней все сначала…

– Следуйте за нами, – так же тихо, но твердо и очень уверенно произнес второй мужчина, показывая Николаю на автомобиль. – Вы арестованы.

Глава XXIV Россия, Петроград, 1921 г.

В стороне чужой
Жизнь прошла моя,
Как умчалась жизнь,
Не заметил я.

Н. Гумилев

Сколько времени он провел в тюрьме? Николай не знал этого. Он сбился со счета в первые же дни: его постоянно будили и уводили на допрос по ночам, иногда не по одному разу, давая поспать пару часов и снова требуя, чтобы он встал, так что вскоре он уже не мог понять, был ли каждый период сна целой ночью или более коротким промежутком времени. Ему казалось, что прошло около трех недель, но он понимал, что может ошибаться. Правда, после нескольких бессонных ночей поймал себя на том, что уже не особо интересуется датами и числами. В первый момент его это напугало – в голову стала настойчиво лезть мысль, что он медленно сходит с ума и превращается в равнодушного ко всему идиота. Но потом Гумилев решил, что волноваться из-за такой мелочи, учитывая все остальные свалившиеся на него беды, было бы странно. Поводов для переживания хватало и так.

На первых допросах он вообще не мог понять, в чем его обвиняют и каких ответов от него ждут. Ему называли фамилии, которых он никогда не слышал или слышал мельком, спрашивали о людях, с которыми он не был знаком, и требовали признаться, что он хорошо их знает. Николай пытался вспомнить, при каких обстоятельствах мог слышать ту или иную фамилию, чтобы догадаться, в чем его обвиняют, но не находил в этой череде имен никаких закономерностей. Это пугало, но это же и успокаивало в самом большом опасении – что его арестовали из-за дел, которыми он занимался в Абиссинии. По крайней мере ни о чем, касающемся его путешествий и людей, отправлявших его туда, Николая ни разу не спросили. После нескольких допросов он окончательно уверился, что ему приписывают что-то другое, а еще спустя некоторое время стал догадываться, что именно. Первые подозрения у него появились, когда в кабинете следователя прозвучало имя Владимира Таганцева. В писательских компаниях ходили неясные слухи о том, что

профессор развил какую-то тайную деятельность против новой власти, и Николай даже собирался осторожно разузнать о ней, но так и не успел этого сделать. Теперь выяснилось, что слухи были не беспочвенными. Но радоваться тому, что он ничего не знал о том деле, Гумилев не спешил. Он подозревал, что раз уж его арестовали как участника этого заговора, то на свободу он так просто не выйдет, даже если его непричастность к заговору будет полностью доказана. Новая власть явно была не из тех, кто умеет признавать свои ошибки.

Хотя пока доказательства его вины не были найдены, и обращались с пленником неплохо. В первые же дни после ареста, когда заскучавший в одиночной камере Николай попросил у охраны бумагу и перо, ему принесли несколько чистых листов с маленьким огрызком карандаша. Не ожидавший такой милости молодой человек поначалу даже растерялся. Он был уверен, что в просьбе ему откажут, что какое-то время ему придется сочинять письма и стихи в уме, а потом, возможно, он сумеет раздобыть клочок бумаги и записать на нем одно из самых удачных четверостиший. А оказалось, что получить возможность писать в тюрьме совсем просто…

«Что ж, Коля, все великие писатели и поэты, которые попадали в кутузку, обязательно творили даже за решеткой!» – напомнил себе Гумилев и, посидев некоторое время над чистым бумажным листом, вывел на нем первую строчку. К концу дня два листа были полностью исписаны неровными, наползающими друг на друга строчками: в камере было довольно темно, а видел Николай плохо. Перечитать написанное он тоже не мог из-за темноты, но это его не особо огорчало. Собственные стихи он помнил и так, тем более только что сочиненные. Почти все из написанного ему понравилось, и заснул Николай в ту ночь довольным и почти позабывшим, где он находится. «На свободе бы я столько за день не написал, меня бы ученики отвлекали…» – успел подумать он, проваливаясь в сон на своей жесткой койке.

На следующий день исписанные листы у него забрали, но чистые оставили, и Николай начал сочинять еще одно стихотворение. Однако теперь у него получалось хуже, и, зачеркнув несколько неудачных четверостиший, он отложил карандаш. Не стоило тратить бумагу понапрасну, в следующий раз тюремщики могут оказаться менее щедрыми.

Потом Гумилев еще пару раз возвращался к недописанному стихотворению, но все равно оставался недоволен результатом. Пробовал он и писать письма своим оставшимся на свободе друзьям, но они получались сухими и насквозь фальшивыми – пленник не особо старался, уверенный, что ему все равно не

позволят их отправить и до адресатов они не дойдут.

Так продолжалось неделю или около того. Николай уже сбился со счета дней, когда на очередном допросе ему вдруг дали понять, что на воле кто-то интересовался его судьбой и как будто бы даже пытался добиться его освобождения. После этого у него появилось новое интересное дело: он пытался угадать, кто это мог быть. Перебирал в уме своих друзей, учеников и просто знакомых и вскоре с гордостью пришел к мысли, что попробовать помочь ему мог почти каждый из них. «Сказать об этом кому-нибудь – решат, что я наивный дурак, который слишком хорошо думает о людях. А я не думаю, я знаю, что все мои друзья такие», – мысленно повторял он весь остаток вечера. Среди тех, кто искал средства спасти его, могла быть и Анна…

В следующий раз охранник, приносивший Гумилеву еду, неожиданно предложил ему сыграть в шахматы. Николай сумел скрыть удивление и не без удовольствия согласился: новое развлечение было очень кстати. Он не играл в эту игру уже очень давно – у него почти никогда не было времени для долгого сидения над шахматной доской, поэтому первую партию со своим тюремщиком он проиграл, а вторую не без труда свел к ничьей. Но это было даже к лучшему. Его соперник, довольный своими успехами, к концу второй партии немного разговорился, и первая же его не относящаяся к игре фраза обрадовала Гумилева сильнее, чем все прошлые счастливые известия, которые он когда-либо получал в своей жизни, вместе взятые.

– Играешь ты так себе, но человек ты не совсем никудышный, это точно, – усмехнулся охранник, убирая с доски второго слона Николая. – Было бы иначе – твоя жена бы радовалась, что тебя забрали, а не осаждала нас целыми днями!

Каких усилий стоило Гумилеву остаться спокойным при этих словах, не узнал никто: он не смог бы описать это, несмотря на все свои способности к творчеству и красноречию. О чем тюремщик говорил потом, Николай почти не слышал – его слова проходили мимо сознания пленника, и он мог лишь делать вид, что сосредоточен на игре, и изредка вежливо кивать головой. А мысли его вертелись вокруг этой неожиданной новости. Анна знала о его аресте, Анна пыталась ему помочь, ей была небезразлична его судьба! Значит, она все-таки продолжала его любить, несмотря на развод, несмотря на долгие годы их разлуки!

Уже после того, как партия была доиграна и он снова остался в камере один, Николай подумал, что тюремщик мог иметь в виду вовсе не Ахматову, а ту женщину по имени Анна, которая являлась его женой по закону. Но эта мысль показалась ему настолько абсурдной, что он громко рассмеялся, чем, наверное,

немало удивил дежуривших за дверью надзирателей. Ася ни за что не стала бы ни вызволять его из заключения, ни даже просто пытаться что-нибудь узнать о нем: если она вообще была в курсе его ареста, то теперь должна всячески скрывать, что он ее муж. И уж точно не могла «Анна Вторая» «осаждать тюрьму», рискуя вызвать гнев охранников и навредить себе! Нет, на это была способна только «Анна Первая», с ее смелым, упорным и требовательным характером! А в том, что она назвалась его женой, не было ничего удивительного – у законной супруги было больше шансов получить о нем хоть какую-то информацию, чем у посторонней женщины. Хотя как знать? Может быть, Ахматова назвалась женой Николая не только поэтому? Может, ей еще снова хотелось стать его супругой?..

Гумилев думал об этом всю ночь, а утром, как только в камере стало чуть-чуть светлее, уселся писать письмо своей любимой. Он хотел успокоить ее, насколько это было возможно, сделать так, чтобы она узнала, что он жив и с ним неплохо обращаются, дать ей надежду на новую встречу. Хотел написать, что ради того, чтобы узнать о ее беспокойстве и желании вызволить его, стоило попасть за решетку и что он не жалеет об этом… Но такое письмо Николаю точно не позволили бы отправить на волю, поэтому в итоге он составил спокойное и не вызывающее никаких подозрений послание, в котором просто сообщал, что у него все хорошо. Этого было достаточно, чтобы Анна перестала волноваться. А о том, как он рад ее заступничеству и как жаждет снова ее увидеть, она смогла бы прочитать между строк – в этом узник не сомневался ни минуты.

Письмо у Николая на следующий день забрали и пообещали отправить по указанному им адресу – туда, где Анна, насколько ему было известно, жила после развода с Вольдемаром Шилейко. О том, выполнят ли тюремщики свое обещание, Гумилев мог только гадать, но ему очень хотелось надеяться, что весть о нем все же пробьется сквозь каменные стены наружу и дойдет не только до Анны, но и до всех остальных переживающих за него людей.

С этой надеждой на лучшее он прожил еще около недели. А потом все внезапно изменилось. На допросах от Николая перестали требовать сведений о Таганцеве и его последователях – теперь следователи утверждали, что он все знал о подготовленном ими заговоре. Его возражений больше не слушали, а после первой же попытки объявить себя невиновным он получил по лицу. Позже были еще удары, чем дальше, тем более сильные…

«Кажется, со мной все уже решено», – думал Гумилев, вновь

оказавшись в камере после первого такого допроса. «Все решено. Окончательно», – понял он еще через два дня, когда от него начали требовать подробностей заговора, не обращая внимания на то, что пленник по-прежнему отрицал свою причастность к этому делу. Играть в шахматы или разговаривать о чем-нибудь, не относящемся к делу, ему больше не предлагали, а оставшуюся чистую бумагу забрали. Но дело было не только в поменявшемся поведении охранников и следователей и даже не в том, что его больше не стеснялись бить. Гораздо больше Николая настораживало другое – в чем-то неуловимо изменилось их отношение к нему. Он даже не мог толком объяснить, в чем это выражалось, просто чувствовал, что теперь на него иначе, каким-то другим взглядом смотрят, что с ним говорят с другой, чуть необычной интонацией. Как будто бы он – именно он, а не разговаривавшие с ним надзиратели! – вдруг в чем-то изменился…

Догадаться, что же случилось с ним или с тюремщиками, Гумилев не мог. Точнее, не хотел. Слишком уж тяжелым было охватившее его предчувствие, и он старался отогнать его, думая о чем угодно, но только не о своем положении. Ему снова захотелось писать стихи, и он сочинял их в уме, потому что бумаги ему больше не давали, – сочинял и жалел, что может что-то забыть и что никто из его друзей никогда не услышит и не прочитает этих строк. А потом спохватывался и убеждал себя, что еще выйдет из тюрьмы – обязательно выйдет, пусть даже не скоро, если его все-таки признают виновным в заговоре, но когда-нибудь выйдет и после этого прочитает все новые стихи каждому из своих поклонников. Иногда молодому человеку даже удавалось в это поверить, но чем дальше, тем тяжелее давался ему этот самообман. Особенно сложно стало надеяться на лучшее после того, как тюремщики оставили его на некоторое время в покое, словно забыв о его существовании. Его больше не водили на допросы, а в камеру к нему заглядывали только для того, чтобы оставить еду. Казалось, ни он сам, ни его отношение к заговору никого уже не интересует.

И все же Николай верил, что сможет спастись или что ему сумеет помочь кто-нибудь из оставшихся на свободе друзей. Он верил в это, даже когда его разбудили и вывели из камеры ранним утром и привели в тесно набитое людьми помещение, приказав ждать там неизвестно чего. Верил, когда, присмотревшись к другим собранным в этой комнате узникам, рассмотрел в царившем там полумраке несколько знакомых лиц, а потом узнал среди них и Владимира Таганцева. Верил даже после того, как всех их вывели на улицу и велели рассаживаться

по нескольким машинам, а потом эти машины, битком набитые людьми, тронулись с места и куда-то поехали по сумеречным утренним улицам.

Ехали заключенные молча. Поначалу Николай узнавал улицы, по которым их везли, затем за окнами замелькали незнакомые ему кварталы, а потом он вдруг обнаружил, что они оказались на окраине города. Дорога стала неровной, автомобиль затрясло, и Гумилев перестал смотреть в окно. Да и остальные ехавшие с ним заключенные, как он заметил, опустили глаза и смотрели в пол, стараясь не встречаться взглядами. Как и он, все хорошо понимали, куда их везут, но каждый старался обманывать себя до последней минуты.

– Небось в другую тюрьму нас везут, там еще хуже будет… – пробормотал сидевший напротив Гумилева парень.

Отгонял от себя страшные мысли и Николай. И только когда он, случайно бросив взгляд за окно, увидел, что они уже выехали из города, ему стало ясно: дальше убеждать себя, что все хорошо и что их просто перевозят в какое-нибудь другое место, бесполезно. Пора было принять правду. А потом – успеть вспомнить все самое важное, что было в его жизни, подумать о самом главном… «Вот только что для меня – самое главное, что?! Что мне вспомнить?!» – чуть не выкрикнул он вслух, внезапно осознав, что не может сосредоточиться ни на одном воспоминании.

Автомобиль резко остановился. Рядом так же резко, подняв небольшие фонтаны мокрого снега, затормозили другие машины. Конвоиры, ехавшие на передних сиденьях, выбрались наружу и открыли задние дверцы.

– Выходим по одному! – донеслось до Николая, но он не сразу понял смысл этих слов.

«Что же вспомнить, что я сделал настоящего, нужного? Чем мне гордиться?! – лихорадочно думал он, почти не видя и не слыша, что творится вокруг него. – Я ездил в Абиссинию, да. Сделал эту страну другом России, хорошим, полезным другом. Сумел скрыть это от всех, не проговорился на допросах, и теперь никто из тех, кто участвовал в том деле, не пострадает. Но это же так мало! Неужели это все, что я сделал в своей жизни?!»

Его вытолкнули из автомобиля, и он вздрогнул от внезапно налетевшего порыва ветра. На секунду отвлекшись от своих мыслей, Гумилев огляделся. Оказалось, что заключенных увезли не так уж и далеко от города. С одной стороны дороги, на которой они остановились, возвышался лес, с другой открывался вид на плохо различимые в туманном воздухе невысокие дома. Николаю даже показалось, что он узнал силуэт порохового завода

и складов на Охте. Но как следует осмотреться он не успел – мысли снова вернулись к давно минувшим дням. «Я написал столько стихов… научил писать стольких талантливых поэтов… Нет, это все не то! У меня двое детей… А возможно, даже трое, про сына Ольги Высотской разные слухи были… Но я не успел их вырастить!» – все быстрее перебирал он яркие события своей жизни. И внезапно перед его глазами как наяву вспыхнула картина из прошлого: он сидит в крошечной комнате в Париже, керосиновая лампа освещает лежащее перед ним стихотворение, написанное на вырванном из школьной тетради листе, – первое стихотворение Анны, которое он опубликовал в журнале «Сириус»…

– Все сюда! В ряд! – скомандовал кто-то из тюремщиков.

Еще из одного автомобиля выбралось не меньше десятка мрачных людей в военной форме. Заключенные сбились плотной группой, поглядывая то на них, то на растущие за дорогой деревья. Добежать до них, наверное, можно было бы всего за несколько секунд…

– Стоять!!! – нарушил холодную тишину резкий, визгливый окрик.

Пленники разом обернулись и успели увидеть, как один из их товарищей по несчастью, раньше остальных решившийся скрыться в лесу, упал в снег, не добежав до деревьев пару шагов. Эхо от догнавшего его выстрела прозвучало почти так же громко, как и сам выстрел.

Больше убежать не пытался никто.

Глава XXV Россия, Петроград, 1922 г.

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
Предсказаны словом моим.

А. Ахматова

Алое закатное солнце скрылось за горизонтом, но его лучи все еще освещали верхушки растущих вокруг заснеженной поляны сосен. Рыжие сосновые стволы, проглядывающие сквозь ветки, «светились» так ярко и настолько резко выделялись на фоне туманного, погружающегося в сумерки неба, что казались похожими на горящие факелы. Анна стояла посреди поляны, запрокинув голову, и не могла оторвать взгляд от этих горящих теплым закатным светом пятен.

«…Закат ярче всего вспыхивает, когда солнце уже зашло за горизонт, – звучали у нее в ушах слова Николая. – Облака после этого начинают светиться сильнее, становятся красными, как огонь. Такая вот странность – солнца уже нет, а его свет еще виден, причем виден лучше, чем раньше!» Когда он говорил ей об этом, им было жарко, и рядом плескалось теплое летнее море, но солнце тоже готовилось скрыться за горизонтом и освещало все вокруг яркими лучами. Как же верно тогда Николай это подметил! Вот только в стихах так и не изобразил, так и не собрался…

Анна поежилась, поправила теплый платок на голове и еще раз посмотрела на верхушки деревьев. Солнце ушло еще дальше за горизонт, и они засветились еще ярче – все было именно так, как много лет назад рассказывал человек, который ее любил. А она не хотела его слушать и все ждала, когда же он перестанет болтать. Зато теперь его слова постоянно звучали у нее в памяти. «Что он тогда еще сказал? Что угли в костре тоже начинают светиться ярче после того, как огонь погас?» – вспоминала она. Ей очень хотелось сейчас протянуть руки к костру или хотя бы к тлеющим углям, но вокруг был только чистый, слепящий глаза снег, на котором темной полоской выделялись ее собственные следы. Согреться ей было негде.

Бросив последний взгляд на верхушки сосен, Анна зашагала прочь с поляны, стараясь идти по своим следам, чтобы не

проваливаться в глубокий снег. Освещенные скрывшимся солнцем деревья остались позади, но их яркие верхушки все еще стояли у нее перед глазами, все еще напоминали о Николае. Лишь после смерти он сам стал для нее «ярче» – только теперь Анна начала по-настоящему понимать его.

Она в последний раз оглянулась назад и посмотрела на сосны. Яркие стволы медленно гасли, и небо над ними тоже постепенно начинало темнеть. Надо было спешить, чтобы добраться в город до темноты. К тому же к ночи на улице наверняка станет еще холоднее, а она и так уже немного простужена.

Анна шла по обочине занесенной снегом дороги, а перед глазами у нее стояла поляна, на которой она только что была. Сколько таких мест она уже видела! Покрытые молодой весенней травой, опавшими осенними листьями или пушистым нетронутым снегом – все эти поля были так похожи друг на друга! Совсем рядом с городом и в десятках километров от него. Каждое из них казалось пустынным и заброшенным, словно на нем вообще никогда не бывали люди. Каждое могло быть могилой Николая…

Правда, чем дальше, тем меньше Анна верила, что сможет найти то место, где не стало ее бывшего супруга. Слухи о том, где происходил расстрел, которые ей удавалось узнать, были слишком неопределенными и ничем не подтвержденными. Могила ее бывшего мужа могла быть где-то совершенно в другом месте, а могла – на одном из тех полей, где она уже побывала. Почти везде ей на глаза попадались небольшие холмики, может, и они – чье-то последнее пристанище? Проверить, так ли это, у Анны не было никакой возможности, и она просто останавливалась перед каждым похожим на могилу возвышением и мысленно еще раз прощалась с Николаем. А потом возвращалась домой и начинала снова всеми путями выискивать хоть какие-то сведения о его расстреле и захоронении.

В этот раз не удалось найти вообще ни одного холмика. И, возможно, именно поэтому ей казалось, что могила, которую она искала, была где-то там, на поляне. А может, дело в том, что именно в этом месте она увидела освещенные солнцем деревья и вспомнила слова Николая о заходящем солнце?..

Анна шла все быстрее. Окраина города приближалась, и, несмотря на сгущающиеся сумерки, впереди уже можно было разглядеть очертания домов. Сугробы стали меньше, снежный наст под ногами сделался более твердым, утоптанным. Почувствовав, что идти стало легче, она перестала сутулиться и с наслаждением выпрямилась. Но тут же снова опустила плечи и

голову, придавленная новым воспоминанием: о том, как Николай рассказывал про свои африканские экспедиции. Он тоже шел по густому непроходимому лесу, согнувшись, и радовался, когда его группа выходила на открытое место, где можно было идти прямо. «Да будет ли в этом мире хоть что-то, хотя бы одна вещь, которая не напомнит мне о Николае?» – вздохнула про себя Анна, останавливаясь на обочине. Вопрос был риторическим. Она и так знала, что напоминать о нем ей теперь будет все. До конца ее жизни.

Далеко впереди виднелись приземистые пороховые склады. До города было уже близко, но усталость брала свое, и двигаться быстро Анна не могла. Домой она добралась почти ночью. В городе опять было неспокойно, и она старалась идти только по широким и кое-как освещенным улицам, обходя стороной узкие переулки и проходные дворы-колодцы. А дома, в давно не топленной темной квартире на Казанской улице, ее, как всегда, ждали только темнота, холод и одиночество. Еще более страшное, чем в те времена, когда Николай был жив, но уезжал из России, или в те, когда рядом с Анной был не желающий ничего знать о ее чувствах и мыслях Вольдемар Шилейко. Тогда Ахматова знала, что осталась одна не навсегда, что Николай рано или поздно вернется, а Вольдемар по крайней мере поговорит с ней о своих собственных делах. Теперь же у нее не было никого, ни одного близкого человека, а самое страшное, что не было и надежды на появление такого близкого. Сын Лев далеко, с бабушкой, к которой он с самого раннего детства привязался сильнее, чем к матери. Остальные родственники, друзья и знакомые либо умерли, либо уехали, либо заняты своей нелегкой жизнью и не имеют сил, чтобы помогать кому-то еще. И муж тоже слишком далеко, там, откуда не возвращаются…

Ахматова вновь поймала себя на мысли, что думает о Николае как о муже, хотя они были в разводе. Его настоящей женой была ее тезка, сестра милосердия по имени Аня, в девичестве носившая фамилию Энгельгард. У самой Анны мужа не было, Вольдемар Шилейко исчез из ее жизни так же внезапно, как и появился в ней. Анна затруднилась бы сказать, когда он был удивлен сильнее: когда она дала ему понять, что готова стать его женой, или когда потребовала развода. Впрочем, он быстро вернул себе невозмутимый вид и без возражений согласился предоставить жене свободу. С тех пор Ахматова и осталась совершенно одна. Был, конечно, еще сын, но она хорошо понимала, что, отдалившись от него, пока он был маленьким ребенком, потеряла его любовь, и не строила на этот счет никаких иллюзий. Подрастающий Лев, если она захочет забрать

его от матери Николая, скорее всего не согласится на это, не захочет расставаться с доброй, ласковой бабушкой. Да и сама бабушка наверняка будет против этого. Но даже если сын захочет жить с Анной и позволит забрать себя в Петроград, ему будет слишком тяжело с нелюбимой матерью, а старой Анне Ивановне – еще тяжелее без внука. Особенно сейчас, когда только он да еще младшая дочь Николая Лена – это все, что осталось у нее от любимого сына. Нет, разлучать их с Львом нельзя ни в коем случае!

Перед глазами Ахматовой снова встала ее бывшая свекровь – такая, какой она увидела ее во время своего последнего визита в Слепнево. Постаревшая лет на двадцать, полностью седая, уже знавшая о смерти Николая, но так и не поверившая в нее. Когда она в первый раз заявила, что ее сын должен был остаться в живых, все думали, что старая женщина сказала так просто от отчаяния. Но и через полгода, а потом через год с лишним Анна Ивановна продолжала говорить о своем младшем сыне как о живом. И теперь уже всем ее родным, и Ахматовой тоже, было ясно, что мать Николая будет настаивать на этом до конца своей жизни, а разубеждать ее в любом случае никому бы не пришло в голову. И она жила дальше, спокойно общаясь со всеми домашними и даже вполне дружелюбно – с Анной, словно в жизни ее семьи ничего не изменилось, но изредка в разговорах вдруг упоминала Николая и, ни к кому не обращаясь, вздыхала: «Где-то он сейчас, все ли у него хорошо?» Остальные в такие моменты обычно делали вид, что не расслышали ее слов, или бормотали что-то неопределенное. Делала так и Ахматова, хотя иногда ей казалось, что права как раз ее бывшая свекровь, а не другие родственники Николая, считавшие Анну Ивановну слегка сумасшедшей. «Анне Первой» тоже хотелось верить, что ее любимый смог спастись, сбежать за границу и теперь прячется где-то в бескрайней Африке, – но она в отличие от матери Николая привыкла трезво смотреть на вещи. Для нее безоговорочно поверить в чудо было непосильной задачей: она слишком хорошо понимала, что шансов выжить у ее мужа не было, и могла лишь тайно завидовать бывшей свекрови, не решаясь даже себе признаться в этой зависти.

Зато с внуками Анна Ивановна, несмотря ни на что, была самой заботливой бабушкой. И Леве, и Лене с ней хорошо, гораздо лучше, чем с родными матерями, да и безопаснее – этого Ахматова тоже не могла не признавать. Ее, бывшую жену «участника антисоветского заговора», пытавшуюся сначала вызволить его из тюрьмы, а потом – разузнать как можно больше о его смерти, тоже могли обвинить в каком-нибудь надуманном

преступлении и арестовать. Тем более что она не прекращала свои поиски и теперь, раз за разом приходя в ЧК и оставляя там заявления, подписанные: «Анна Гумилева», хотя официально у нее пока еще была фамилия Шилейко и она собиралась сменить ее на выбранный много лет назад псевдоним. Сама Анна больше не боялась оказаться в тюрьме и собиралась продолжать искать могилу Николая до последнего. Но рисковать при этом их сыном она не могла. Ей и так за него страшно, несмотря на то что он совсем еще маленький и живет далеко от всех связанных с нею опасностей. К тому же она постоянно то сидела без работы, то перебивалась случайными заработками и не была уверена, что сможет прокормить подрастающего ребенка.

Больше вспоминать Анне было не о ком. Всех ее братьев и сестер, кроме Виктора, уже давно нет на свете. Самого Виктора она не видела много лет и не знала, где он. Мама жила под Киевом у своей сестры и лишь изредка отвечала на письма единственной оставшейся в живых дочери: после того, как ее старший сын Андрей покончил с собой, она окончательно замкнулась в себе. У друзей, собратьев по поэтическим кружкам и просто знакомых была своя жизнь, не менее трудная, и всем им было не до Анны. Даже ученики и коллеги Николая, которые еще недавно вместе с Ахматовой пытались его спасти, теперь были заняты собственными проблемами. Хотя Анна уже и не рассчитывала ни на чью помощь.

Она посидела еще немного, ни о чем не думая, а просто отдыхая после отнявшей у нее много сил поездки, а потом ее мысли снова вернулись к сегодняшнему дню. Ахматова открыла глаза и обнаружила, что на улице погасли редкие фонари и комната погрузилась почти в полный мрак. Осторожно поднявшись с дивана, она принялась ощупью искать в ящике стола огарок свечи и спички. Наконец нашла – и маленький дрожащий огонек с трудом осветил угол, в котором находился стол. В остальных углах по-прежнему клубилась темнота, но Анну это уже не беспокоило. Она достала из другого ящика чернильницу и старую исписанную тетрадь – одну из тех, в которых писала, еще будучи замужем за Николаем, часто тайком от него. В конце тетради оставалось еще несколько чистых страниц. Анна открыла первую из них и занесла руку с пером над чернильницей. Как это нередко бывало с ней, она не знала, о чем начнет писать в следующую минуту, но не сомневалась, что обязательно что-то напишет…

Свеча медленно догорала, крошечный огонек захлебывался в лужице расплавленного воска, и в комнате становилось все темнее, но склонившуюся над столом женщину это не смущало.

Она продолжала выводить в тетради одно слово за другим, время от времени зачеркивая целые строчки и записывая вместо них новые. Лицо ее было сосредоточенным, но усталые, чуть припухшие глаза смотрели на исписанную бумагу с едва заметной радостью. Она писала стихи, несмотря на все свалившиеся на нее несчастья, она занималась любимым делом и чувствовала, что возвращается к жизни. И ей уже было ясно, что с этого дня она будет писать всегда, не обращая внимания ни на чьи оценки и ни на какие внешние обстоятельства.

А еще она никогда не будет оправдываться перед теми, кому не понравятся ее стихи, и пытаться доказать, что они написаны хорошо. Больше – никогда. Теперь ей достаточно того, что она сама знает об этом, и того, что ее произведения когда-то, пусть и не сразу, но все-таки признал стоящими Николай.

Тетрадные страницы переворачивались одна за другой с легким шорохом, перо скользило по ним с едва слышным скрипом. За окном постепенно становилось все светлее. Наконец на последнем листе появилась последняя точка и дата. Анна отложила перо и откинулась на спинку стула. Это стихотворение было закончено. Но оно было далеко не последним – сидевшая за столом женщина знала это точно.

Эпилог СССР, Ленинград, 1938 г.

Качается ветхая память
В пространстве речных фонарей,
Стекает Невой меж камнями,
Лежит у железных дверей.

Л. Гумилев

Самый большой лекционный зал университетского филфака был заполнен до отказа. Студенты-историки, доучившиеся до четвертого курса, успели хорошо узнать, что профессор Лев Пумпянский не знает к прогульщикам ни жалости, ни снисхождения и всегда припоминает пропуски на зачетах и экзаменах. Поэтому на его лекцию о поэзии начала XX века подтянулись даже самые злостные разгильдяи, и в аудитории собралось почти двести человек – весь четвертый курс, за исключением нескольких заболевших.

Правда, слушали его студенты не слишком внимательно. В верхних рядах огромного амфитеатра не смолкал тихий, но назойливый гул. Студенты болтали, обсуждали последние новости, сидящих в отдалении сокурсников и других преподавателей, выпрашивали друг у друга конспекты пропущенных лекций, спорили, шутили… Чуть ниже тоже было шумно: занявшие эти места четверокурсники пытались утихомирить сидевших над ними болтунов и злобным шипящим шепотом требовали, чтобы те замолчали. Еще ниже будущие историки старательно изображали внимательных слушателей, но на столах перед ними лежали не только конспекты, но и газеты, учебники по другим предметам и книги, не имеющие никакого отношения к литературе недавнего прошлого. И только несколько самых первых рядов, которые были хорошо видны лектору, заняли добросовестные слушатели. По большей части, впрочем, добросовестные поневоле, так как заняться каким-нибудь посторонним делом на глазах профессора Пумпянского им было слишком трудно. Приходилось прислушиваться к его словам, время от времени записывать одну-две фразы в тетрадь и сдерживаться, чтобы не зевнуть во весь рот и не выдать таким образом свое истинное отношение к учебе. Правда, тех, кому лекция была интересна и кто торопливыми каракулями записывал каждое слово профессора, тоже было достаточно на всех «этажах» амфитеатра. Некоторые даже поглядывали на часы не с нетерпением, а с сожалением, что выступление Пумпянского

постепенно подходило к концу.

– Так, у нас осталось еще двадцать минут? – Профессор тоже поднял глаза на круглые настенные часы и заговорил чуть громче, чтобы вернуть внимание уставшей аудитории.

Студенты, услышавшие последнюю фразу, напряглись и оторвались от своих дел в надежде, что преподаватель решит отпустить их пораньше на перерыв. Однако их ожидания оказались напрасными.

– Я как раз успею рассказать вам еще об одном поэте… – объявил лектор, и мечтающие отдохнуть четверокурсники снова сникли. Еще один мало кому известный стихотворец, наверняка такой же скучный, как все предыдущие! Еще двадцать минут сидения в душной аудитории! Теперь даже самые прилежные студенты, занявшие первый ряд, принялись, не особо скрываясь, зевать и громко вздыхать.

– О Николае Степановиче Гумилеве, – продолжил тем временем Пумпянский.

И тут же не без удивления заметил, что в аудитории как будто стало потише. Он привык, что шум на занятиях постепенно возрастает и под конец болтуны разговаривают громче всего, какие замечания им ни делай. А тут вдруг за четверть часа до окончания лекции его, наоборот, стали слушать более внимательно! А один молодой человек, сидевший во втором ряду, и вовсе уставился на Пумпянского внимательным выжидающим взглядом. Это было что-то новенькое!

– Итак, Николай Гумилев, – начал рассказывать профессор, с интересом поглядывая на притихших студентов. – Он родился в тысяча восемьсот восемьдесят шестом году. Темы его стихов мало отличаются от поэзии его современников, о которых вы только что услышали. Точно такой же чуждый нам декаданс, упадничество, пессимизм. Единственная нетипичная для его единомышленников тема – путешествия, экзотические страны. Другие поэты о них не писали, а у Гумилева такие сюжеты были одними из любимых. Хотя в стихах о дальних странах тоже полностью проявляется фальшивость той поэзии…

В аудитории было тише, чем на самых трудных госэкзаменах. Пумпянский недоумевал все сильнее. Неужели студентов так заинтересовал этот никому не нужный и известный только литературоведам поэт, чьи стихи остались в прошлом? Даже странно, о других-то стихоплетах они слушали вполуха… Или их внимание привлекли слова о путешествиях?

– Все стихи Гумилева, посвященные другим странам, – выдумка, – решил Пумпянский осветить эту тему более подробно. – Поэт писал про Абиссинию, а сам не был дальше

Алжира. Такой вот пример нашего, отечественного Тартарена!

Теперь тишина стала и вовсе гробовой. Лектор еще раз оглядел слушателей и с еще более сильным изумлением обнаружил, что почти все смотрят вовсе не на него, а на парня во втором ряду, который не сводил с него глаз. Лицо этого студента показалось Пумпянскому смутно знакомым – кажется, он уже видел его на своих лекциях, хотя и не знал, как его зовут. И вроде бы раньше этот юноша его с таким вниманием не слушал – уж это-то профессор запомнил бы обязательно!

«Ну, что ж, пусть слушает, видимо, чем-то ему этот забытый поэт интересен…» – успел подумать Пумпянский, когда странный молодой человек неожиданно встал.

– Николай Гумилев был не в Алжире, а в Абиссинии! – гулко прозвучал в тишине аудитории его голос.

– Что? – растерявшись, переспросил лектор. Студенты давно уже не позволяли себе спорить с ним и уж тем более выкрикивать что-нибудь с места во время его лекций, и эта дерзость стала для него полной неожиданностью.

– Николай Степанович Гумилев был в Абиссинии, – еще громче возвысив голос, повторил студент. – Он описывал в своих стихах только то, что видел.

И снова в аудитории повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь случайными шорохами. В верхних рядах кто-то не то шумно вздохнул, не то восхищенно ахнул. Однако Лев Пумпянский уже взял себя в руки, и его лицо приняло свое обычное снисходительное выражение, с каким он всегда смотрел на студентов.

– Молодой человек, – произнес он, слегка улыбаясь, – ну, кому, по-вашему, лучше знать, где он был, – вам или мне?

Он ждал, что перебивший его невоспитанный студент смутится и, пристыженный, сядет на место, но вместо этого юноша посмотрел ему в глаза еще более вызывающим, колким взглядом.

– Мне, конечно, – сказал он ровным голосом и пожал плечами, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся.

Ответить на это Пумпянский не успел. Аудитория вдруг грохнула таким звонким смехом, словно перед ней была не лекторская кафедра, а арена цирка, на которой выступали самые талантливые клоуны. Этот смех эхом разнесся по всему помещению, отразился от высокого потолка и едва не оглушил вновь растерявшегося от неожиданности преподавателя. Он смотрел на студентов, которые только что тихо слушали его лекцию – пусть неохотно, пусть без особого интереса, пусть даже занимаясь при этом какими-то своими делами, но ведь слушали!

Они все-таки относились к нему с уважением – может быть, не все, но большинство из них. А теперь они смеялись. И не просто смеялись, а хохотали, раскачиваясь на скамейках и запрокидывая головы, словно он, профессор Лев Васильевич Пумпянский, известный в Ленинграде специалист по истории русской литературы, сказал что-то невероятно остроумное. Больше всего веселились, конечно, сидящие в верхних рядах. Отличники, занявшие места поближе к кафедре, стеснялись смеяться громко, однако было заметно, что им тоже весело и они с трудом сдерживают хохот. Все они, и разгильдяи с верхних рядов, и прилежные учащиеся с нижних, смотрели на этого дерзкого выскочку. А он продолжал стоять, глядя на Пумпянского каким-то странным взглядом. Сначала профессору показалось, что в этом взгляде была злость или даже ненависть, но затем он понял, что ошибся. Этот невысокий светловолосый студент не ненавидел его. Он просто был полностью уверен в своей правоте и в том, что Пумпянскому совсем ничего не известно о поэте Николае Гумилеве. И Лев Васильевич вдруг почувствовал, что не может выдержать этот прямой уверенный взгляд странного студента, и если сейчас же не отведет глаза в сторону, то начнет оправдываться перед ним и перед всеми остальными слушателями, признается, что действительно не удосужился прочитать биографию Гумилева и рассказывал о нем лишь то, что было одобрено руководством университета…

А студенты все смеялись. Уже не так громко, как в первый момент, но им все еще было очень весело. И они по-прежнему смотрели на перебившего Пумпянского юношу – кто с уважением, а кто и с настоящим восторгом. Один из сидящих неподалеку от него студентов показывал ему поднятый вверх большой палец, другой, пихая в бок своего соседа, что-то кричал ему в ухо, кивая на виновника всеобщего веселья.

– Все, лекция окончена! – крикнул профессор, с трудом перекрывая своим хорошо поставленным голосом царящий в аудитории шум.

Смех начал потихоньку стихать. Коллеги Льва Пумпянского часто шутили, что единственный способ, позволяющий полностью прекратить гвалт на лекции, – это закончить ее и отпустить студентов домой. Подействовал этот ход и теперь. Несмотря на все бурные эмоции, которые вызвал спор профессора с этим невоспитанным мальчишкой, сообщение о том, что они свободны, заставило учащихся забыть о нем и начать собирать вещи. Лишь некоторые еще продолжали хихикать и поглядывать на все еще стоящего и не спускающего с Пумпянского глаз спорщика. А сам спорщик не отрывал от профессора своего взгляда.

Лев Васильевич выдержал еще несколько секунд, но потом все-таки первым отвел глаза в сторону. Студент удовлетворенно кивнул и тоже принялся складывать в портфель свои вещи. Собрал тетради с тезисами лекции и Пумпянский. Он старательно делал вид, что ничего особенного не произошло, что просто один глупый студент решил с ним поспорить, а он, профессор, заслуженный специалист по истории литературы, не стал связываться с самоуверенным мальчишкой. Но профессору было ясно, что и сам он, и все студенты, слышавшие его диалог о Николае Гумилеве, прекрасно понимают: это не так. Нахальный молодой человек уличил его во лжи, и вся аудитория, весь его курс теперь будет знать, что он, Лев Пумпянский, вовсе не такой эрудированный человек и добросовестный преподаватель, каким его считают в университете.

А наглый студент, с такой легкостью уличивший уважаемого профессора в некомпетентности и лжи, уже шел к выходу из аудитории, размахивая портфелем. К нему подбежали двое однокурсников и почти одновременно хлопнули его по плечам.

– Ну, ты даешь, Левка! – воскликнул один из них и снова расхохотался. – Это ж надо – так отбрить старика!

– «Кому лучше знать – мне или вам?» – очень похоже подражая голосу Пумпянского, передразнил его второй. – «Мне, конечно!» Как сказал, а?

– Молодец, Левушка! – крикнула обогнавшая компанию девушка и кокетливо подмигнула ему. Тот ответил ей торжествующей улыбкой.

Еще через минуту молодой нахал и его приятели вышли из аудитории. Остальные студенты тоже не стали задерживаться – все радовались, что лекция закончилась чуть раньше, и спешили кто домой, кто на прогулку, кто – по каким-то своим делам. И только несколько человек продолжали укладывать в портфели и сумки тетради с конспектами и о чем-то болтали.

Лев Васильевич застегнул собственный портфель и вышел из-за кафедры. Несколько секунд он медлил, раздумывая, что делать дальше, а потом, поджав губы, решительно направился к крайней парте в первом ряду, возле которой все еще складывали свои вещи несколько студенток-копуш. Особенно медленно возилась с конспектами одна из них. Ее однокурсницы уже были готовы идти и нетерпеливо переминались с ноги на ногу рядом с ней.

– Идите, я догоню! – сказала она им, еще ниже наклоняясь над своим портфелем.

Те не заставили просить себя дважды и направились к выходу.

Лев Васильевич подошел к оставшейся в аудитории девушке,

к этому моменту как раз запихавшей все свои тетради в портфель, и остановился рядом с ней.

– Кто этот выскочка? – спросил он, кивая на место, где сидел вступивший с ним в спор молодой человек.

Студентка подняла на него глаза, и ее лицо стало таким же сосредоточенным, каким бывало, когда она отвечала на зачетах и экзаменах. Ей очень хотелось ответить как можно лучше, словно за этот ответ она тоже могла получить высшую оценку.

– Это Лев Гумилев, он вечно везде лезет и с преподавателями спорит! – сообщила она Пумпянскому. – Учится он, правда, неплохо, но никого не уважает, ошибки у всех ищет, ему уже много раз замечания делали…

– Лев… Гумилев, говорите? – с каменным лицом переспросил Пумпянский.

– Да, Гумилев… Ой!.. – Студентка, лишь теперь сообразившая, кем был ее нарушивший дисциплину на лекции сокурсник, удивленно захлопала глазами.

– Понятно… – протянул профессор и натянуто усмехнулся. – Что ж, спасибо за информацию.

– Не за что, Лев Васильевич! – несколько раз быстро кивнула студентка.

Пумпянский неспешно направился к выходу из аудитории. Его лицо уже снова приняло обычное спокойное и уверенное в себе выражение. И только его полные губы при этом что-то едва слышно шептали. До идущей следом за ним студентки долетел обрывок фразы:

– …так этого не оставлю!

А светловолосый невысокий третьекурсник по имени Лев, только что наживший себе первого и далеко не последнего врага, шел по Университетской набережной, щурясь от редкого в Ленинграде солнца, и гордо улыбался.